

ПОЛЕ ДЕТСТВА

ПОВЕСТИ
КАЗАХСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ
О
ПОДРОСТКАХ



ЖАЛЫН

ПОЛЕ ДЕТСТВА

*Повести казахских писателей
о подростках*

МАДИ АЙМБЕТОВ

МАРАТ КАБАНБАЕВ

МОЛДАХМЕТ КАНАЗОВ

ТЫНЫМБАЙ НУРМАГАМБЕТОВ

АБДИ ШЫНБАТЫРОВ



АЛМА-АТА «ЖАЛЫН» 1988

84 Каз 7—44
П 49

Составитель Б а к к о ж а М у к а е в

Рецензенты: В. Ф. М и р о г л о в, М. О. Б а й ж а н о в

П $\frac{4803010200-34}{408(05)88}$ 127—88

© Издательство «Жалын»
Состав, оформление, 1988

КУНЕКЕЙ

Я В ПЕРВЫЙ раз увидела своими глазами, как плачет учительница. Это было тяжелое зрелище. Она совсем по-детски никак не могла унять рыданий, и плечи ее содрогались. Больше всего меня поразило то, что она в эту горькую для себя минуту ничем не отличалась от обычных ревущих девчонок.

— Апай, не плачьте, ну что это с вами? стыдно же перед ребятами, пожалуйста, перестаньте! Они... они самые настоящие хулиганы! Озорники такие! Вон и они появились! Слышите, как горланят? Возьмите себя в руки, апай! Не то они станут дразнить вас за спиной плаксой и никогда не смогут больше уважать и бояться... Вытрите слезы! А то, вот увидите, я тоже начну реветь!— Я тянула ее за руку, делала плачущее лицо, а сердце стучало от страха, и я все оглядывалась назад, на закрытую дверь, боясь, что кто-нибудь войдет.

— А ты... зачем плакать собираешься?.. Уйди, пожалуйста! Выйди и ты, Тлеулесова! Выйди, оставь меня одну!

Я никак не ожидала, что она в таком своем состоянии меня оттолкнет. От жалости и обиды дыхание перехватило, и я совсем растерялась. Правда, вам должно быть известно, как в такие моменты жалость тут же оборачивается острым состраданием к себе. Совсем трудно стало удерживать слезы, которые и без того готовы были хлынуть.

Отвернувшись от меня к окну, учительница достала платок, вытерла насухо глаза и встала с места. Я закусила губу, чтобы не расплакаться при ней и выскочила из класса. Распахнув дверь, я увидела, что за порогом толпится почти весь класс. Похоже, ребята собрались

здесь давно, по очереди подглядывая в шелку приоткрытой двери и передавая друг другу шепотом все, что происходило в классе между мной и учительницей. Нетрудно было представить себе их переговоры.

— Эй! Что она там делает?

— Смотрите-ка, разревелась!

— Да они вдвоем слезы льют, дуэтом! Хи-хи-хи!

Я почувствовала, как распахнувшаяся дверь кого-то ударила.

— Ой, плечо мое! Плечо! Я тоже сейчас заплачу!— вскрикнул кто-то.

— Ты что, плечо вывихнул, что ли?

— Да эта сумасшедшая так ударила меня дверью, что искры из глаз посыпались.

— А что, у тебя глаза на плече, что ли?

— Иди ты!

Своих одноклассников я восприняла в этот момент как многоголовое чудовище, каждая голова которого хотала, дразнила, издевалась.

«Все кончено. Оказывается, они видели, как плакала учительница. Ой, какой стыд!»

Только завернув за угол школы, я дала волю слезам. Я и сама толком не понимала причины столь горьких и обильных слез. Обида это была или все-таки жалость?

Говорят, она сама изъявила желание быть нашей классной руководительницей. Странно, ведь в школе нет ни одного учителя, у которого бы волосы на голове не поднялись дыбом при одном лишь упоминании о восьмом «Б». Вот сама и виновата! Неужели ничего лучше выбрать не могла? Каким образом хотела она навести порядок в прославленном своими дикими выходками классе? Да и вид ее не очень внушает доверие. Ну ничем не отличается она от тех студенток-практиканток, которые сами визжат, как школьницы на переменках. Только никто из них не плакал так, как она. Может, потому, что им всегда приходили на помощь строгие учителя, которые во время уроков, проводимых студентами, сидели на задних партах и внимательно следили за соблюдением тишины в классе. Ну, а если никого из них, защитников-спасителей, не оказывалось поблизости, то тут уже сами практиканты, зажав ладонями уши, пулей вылетали из класса. Но плачущими, надо признаться, мы их не видели. А в этот раз... Наверное, привычка реветь по любому поводу осталась у нее с детства ..

Пришла она к нам в самом начале второй четверти. Обычно сам директор или завуч, по крайней мере, приводил в класс нового учителя и знакомил его с нами. А она пришла сама, одна-одинешенька под конец урока, не предполагая, очевидно, с кем ей придется иметь дело. Разве можно было ожидать от наших ребят, чтобы они после звонка сразу успокоились и тихо расселись по местам? Да ни в жизнь! И в тот раз, как обычно, они подняли пыль столбом, учинив какую-то схватку. Даже Берикбай, который считался у нас самым послушным и тихим, наделал бумажных голубей из чистых тетрадных листков, напечатал на их крыльях имена девочек и мальчиков и одного за другим отправлял в полет по туманному «небу» классной комнаты. Один из таких голубей плавно проплыл мимо окна, описал круг и приземлился у самых ног новой учительницы, которая в этот момент вошла в класс и остановилась на пороге. Не было никаких сомнений в том, что, если бы не школьный журнал в знакомой желтой обложке, прижатый рукой к груди, класс вряд ли признал бы учительницу в этой незнакомой молоденькой девушке. Двадцать пять пар удивленных глаз с любопытством уставились на незнакомку, взъерошенные «борцы», прекратив схватку, стояли рядом с ней, не двигаясь с места. Нагнувшись, она подняла бумажного голубя, лежавшего у ее ног.

— Азим плюс Бота,— услышали мы то, что было написано на его крыльях. На секунду все замолкли. Учительница дружелюбно улыбнулась, и на розовых щеках ее тут же обозначились такие милые ямочки, что хотелось до них дотронуться.

Первая модница нашего класса Гульнур, которую прозвали «Последний крик моды», качнула в восхищении головой и задышала мне в ухо:

— Ну! Такую красавицу я еще...

А ведь Гульнур не зря дали такое прозвище. По одежде, по манере держаться она могла безошибочно определить характер незнакомого ей человека. Впрочем, прозвищ у ребят в нашем классе было сколько угодно. А сколько прозвищ имели сами учителя! Некоторые из них надолго прилипали к своим носителям, другие быстро отмирали. Не исключено, что пока я тут рассуждаю,

кто-нибудь из остряков уже успел придумать прозвище и для этой славной девушки, вошедшей впервые в наш класс.

— Здравствуйте, дети! Можете садиться!— произнесла она, вцепившись руками в журнал, прижатый к груди так, словно его могли вырвать силой. На желтом фоне обложки между ее пальцами белело послание Берикбая.

Тут кто-то не выдержал и фыркнул. Это был, конечно же, Клоун-Нурат. Учительница, не знаю почему, не обратив на это ровно никакого внимания, спокойно прошла к столу. И лишь после этого класс начал расходиться по местам и рассаживаться за парты. Положив на стол бумажного голубя и журнал, девушка обратилась к классу:

— Дети, с сегодняшнего дня я буду вести у вас занятия по русскому языку и литературе. В нашей школе я человек новый, пришла сюда недавно. Давайте знакомиться. Зовут меня Фарида, фамилия — Батанова. Если хотите обращаться по имени-отчеству, то называйте меня Фарида Алибаевна. Но можете называть и просто «апай», как это принято в казахских школах. Особой разницы в обращениях я не вижу.

— Как, вы сказали, вас зовут? Повторите, пожалуйста, я не расслышал!— подал реплику ехидный Азим-Журавль.

— Фарида Алибаевна Батанова. Теперь, надеюсь, ты расслышал?— Получив в ответ утвердительный кивок, она спросила:— Как тебя-то самого зовут?

— Э-э-э, меня, говорите?— медленно приподнимаясь, протянул Азим.— Меня зовут...— Он задумался, закатив глаза к потолку, словно человек, забывший свое собственное имя. Нам, конечно же, было уже знакомо это представление Азима.

— Его имя записано на крыле того голубя, что лежит на вашем столе, апай!— не выдержал бойкий и рыжий Сейтеш.— Вы сами можете узнать, стоит только прочесть...

Учительница улыбнулась и повторила:

— Лучше, если он сам вспомнит свое имя.

Послышались смехи. Чувствуя поддержку, улыбался и Азим. Тут снова выскочил Сейтеш:

— Даулов его фамилия, апай. А фамилия той, чье имя написано на втором крыле,— Тлеулесова.

Назойливый, как ночная мошка, рыжий Сейтеш своим ядовитым жалом сумел ужалить и меня, словно его об этом просили.

— Садись, Даулов! А тебе, Сейтеш, спасибо за помощь.— Было непонятно, искренне она его благодарит или чем-то недовольна.

Но вы только посмотрите, каким бессовестным оказался этот рыжий комар! У него на лице ничего даже не дрогнуло, когда он заявил во всеуслышание:

— Ничего-ничего, не стоит благодарности. Считайте, что это я сделал бескорыстно, апай!

Мне вновь пришлось не по душе, что наша новая учительница сразу не оборвала Рыжего и Журавля, не поставила их на место.

Пропустив остроту Сейтеша мимо ушей, учительница рассказала о том, что поначалу ее направили в восьмой «В», но она захотела работать с нами и поэтому поменялась с Мансурой-апай.

Я подняла руку.

— О чем ты хочешь спросить?

— Вы будете у нас также и классной руководительницей?— задала я вопрос.

— Этого я пока точно сказать не могу. Если Мансура-апай согласится и руководители школы доверят мне, то вполне возможно, что я стану и вашей классной руководительницей. Как твоя фамилия, милая?

— Это же Тлеулесова, чье имя написано на крыле самолета,— опять влез в разговор Сейтеш. Голос прозвучал нарочито тонко и противно, как у настоящего комара-кровопийцы.

— Моя фамилия Тлеулесова, а зовут Бота. Я являюсь старостой класса, апай,— спокойно и строго ответила я, как обычно говорю в тех случаях, когда пытаюсь охладить пыл разошедшихся мальчишек.

— Спасибо, можешь сесть, Бота,— ласково разрешила мне учительница.

Однако я не закончила свою мысль и продолжила:

— Апай, даже если Мансура-апай и дирекция согласятся, вы ни за что не соглашайтесь быть нашей классной руководительницей. Не берите нас!— сказав это, я села на место.

Класс замер. Учительница взглянула на меня так, словно хотела что-то сказать, но промолчала. Пауза затянулась. Наконец она вздохнула и сказала:

— Тлеулесова, я прошу тебя снова встать с места и объяснить мне эти слова. Почему ты так говоришь?

Я почувствовала, как на глаза навернулись слезы. Показалось даже, что подбородок мелко-мелко задрожал. Я понимала, что именно сейчас не смогу коротко и ясно ответить на этот вопрос. Это, видно, поняла и учительница или же просто, не желая углубляться в столь щекотливый вопрос, не стала дальше настаивать и склонилась над журналом. Я снова села. В это время прозвенел звонок. Класс сорвался с места, как обычно, с шумом и криком. Так же незаметно, как вошла, смешавшись с учениками, учительница покинула класс.

Вот вкратце все, что можно сказать о первом знакомстве Фариды Алибаевны с восьмым «Б», пользующимся громкой, но дурной славой.

Прошло совсем немного времени, и Мансура-апай с невообразимой радостью, которую она, однако, всячески старалась скрыть, передала свое классное руководство над нами в руки этой совсем юной и неопытной учительницы. Прощаясь, она сказала, что в общем-то мы добрые и неплохие дети и что ей трудно и больно расставаться с нами. Предчувствуя свое близкое избавление, она, таким образом желая поднять нас хоть немного в глазах новой руководительницы, говорила много лестных слов, будто цыган на ярмарке, продающий клячу, которую хотел выдать за скакуна.

— Вы и учитесь в общем неплохо, хотя можете успевать гораздо лучше. У вас для этого есть все возможности и способности. Но веры в свои силы маловато. Вот, Азим, взять хотя бы тебя. Ты умеешь многое. Руки у тебя золотые. Ты прекрасно рисуешь, мастеришь разные вещи по дереву. Всякое дело ладится у тебя. Не на тройки бы тебе учиться, а на пятерки. На одни пятерки! И у тебя, Берикбай, хоть ты с виду и смирный, а голова хорошо варит, сидит в тебе зерно здоровое, способное стать добрым злаком. Точно так же могут проявить свои способности и Сейтеш, и Ерикбол, и Гульнур. Да весь класс вполне мог бы состоять из одних отличников и ударников!..

Она говорила, а новая классная руководительница лишь кивала головой, словно поддакивала ей во всем. Меня очень удивило, что Мансура-апай, взхлеб расписывая наши таланты и способности, никогда раньше нам о них не говорила. И если мы все такие образцовые

и умные, то почему она сейчас так легко бросает нас? Что-то непонятно!

В ответ наша новая учительница поблагодарила Мансуру-апай за то, что та доверяет ей своих ребят. Класс дружно захлопал в ладоши и зашумел. И было непонятно, то ли он радовался тому, что уходит от нас Мансура-апай, то ли был в восторге от того, что получает на растерзание эту молодую учительницу, слабую и беззащитную перед ними, как газель перед волками. Все это пока было неизвестно. Но так или иначе, Мансура-апай в конце концов ушла, и для Фарида Алибаевны наступил день, ставший первым важным событием в трудовой жизни молодого педагога. В ее руки перешел прославленный своими «подвигами» восьмой «Б», а на плечи легла большая, взрослая ответственность.

* * *

Событие, которое явилось истинным поводом для сегодняшних слезоизлияний, совершилось днем позже. Каждый учитель, кем бы он ни был, никогда не заходил в класс до звонка, скорее даже немного задерживался. Фарида Алибаевна же открывала двери в тот момент, когда нас поднимал с мест школьный звонок с предыдущего урока. Она проходила к столу и сидела одна в классе, пока мы не возвращались, опять-таки повинувшись трели звонка. То ли она выписывала что-то важное в свою тетрадку из классного журнала, то ли, наоборот, записывала в журнал что-то из своей тетрадки, но из-за стола не поднималась до самого начала урока. Заметить эту ее особенность не составляло никакого труда.

В тот день я была дежурной и оставалась во время перемены в классе. Группе ребят с Азимом, оказывается, удалось загнать девочек в каморку за библиотекой, что находилась на школьном дворе, а Нурат, Ерикбол и еще кто-то закрыли их на крепкий засов, привесив еще и замок. Нас же заперли в классе. Судя по тому, что ключ от этого кабинета находился обычно у вахтера или уборщицы, подготовка к «операции» велась тщательно и продуманно. Так и получилось, что на целых сорок пять минут мы с учительницей остались вдвоем в пустом классе. Видно, она ждала всяких каверз со стороны класса, но такой подлости не ожидала даже от нас. Для нее это было уже не проступком, а преступлением, не злостью, а

жестокостью. Она долго сидела молча, в каком-то странном оцепенении, а потом разрыдалась.

Когда прошли долгие и тяжелые сорок пять минут, кто-то снаружи тихо подкрался и повернул ключ в замочной скважине. О том, что было дальше, вам уже известно.

...Я вернулась лишь после того, как снова прозвенел звонок. Должен был быть урок физики. Учитель, как оказалось, еще не пришел, в классе стояла абсолютная тишина. Все сидели тише воды, ниже травы. Это было похоже на гнетущее и душное затишье, какое бывает перед сильной бурей. Однако никакой бури не было. Об этом событии, кроме нашего класса и новой руководительницы, никто в школе ничего так и не узнал.

Наутро она пришла на урок как обычно загодя. О вчерашнем инциденте не было сказано ни слова. Глядя на нее, можно было подумать, что она напрочь забыла о тех неприятностях, которые произошли накануне.

Станный она все-таки человек и очень даже непонятный!

* * *

Мастера на клички, конечно же, уже успели придумать прозвище Фариде-апай, назвав ее Кунекей, то есть «Солнечной». Разве вы никогда не слышали о том, что есть такая сказка про красивую девушку, жившую под солнцем? Вот наши ребята, а говоря точнее Азим, решили, что нашей новой руководительнице как нельзя больше подойдет имя красивой и умной девушки, созданной из светлого солнечного лучика.

То, что Азим любит языком потрепаться и делает это весьма умело, а порой и едко — правда, однако, учитывая это его качество, не следует сразу давать ему отрицательную характеристику. Ко всему сказанному о нем Мансурой-апай я могу добавить еще немаловажные штрихи: он парень очень впечатлительный, увлекающийся, с чувствительной душой, безошибочный в своих суждениях о людях. Но самое ценное в нем — это редкая искренность и честность. Мне думается, неспроста он взял и назвал нашу учительницу «Кунекей». Что касается других ребят, так им лишь бы была кличка, хотя многие считали, что «Кунекей» звучит не очень.

Сама я, с одной стороны, и рада тому, что Азим нашел для нашей классной руководительницы именно та-

кое прозвище. А на людях держу сторону девчат, которые, конечно, всячески выражают свое недовольство тем, что учителям даются всякие прозвища.

Видимо, Кунекей много думала о разных способах методах и приемах, чтобы найти общий язык с классом. Каждый день она придумывала что-то новое. Сегодня пришла во время большой перемены и сказала радостно:

Ребята, сейчас в кинотеатре идет фильм «Белый Гим — черное ухо». Да вы об этом лучше меня знаете. А что если мы возьмем и сходим на эту картину всем классом?

Ну в точности как беспомощная и робкая старшеклассница-активистка, а не учительница восьмого класса! Вечно она неуверенно спрашивает: «А что, если мы сходим?..», «Как вы думаете?», «Правильно ли будет, если...» а в крайнем случае скажет: «Давайте сделаем» или «Это нужно». Тверже этого, строже у ней что-то не очень получается. Ну разве такие деликатные слова нужны для нашего класса, чтобы он повиновался или хотя бы прислушался? Он же дружно станет возражать из одной только вредности. Но вот что удивительно. учительница никогда на своем не настаивает. В случае отказа она пожмет плечами, будто говоря: «Ну что с вами поделаешь?» — и уйдет.

— Да мы это кино уже видели! — выскочил Ербол

— Я тоже смотрел, — вторил ему Сейтеш

— Нам мамы не разрешат, мы не пойдем, — от имени всех ребят нашего класса заявил Нурат.

— Чего толпой ходить? Может, еще парами пойдем взявшись за руки?

— Ага! Так и пойдем! Будем петь по пути «Мы папу с мамой любим, идем мы в первый класс!»

— Вообще кино с книгой не сравнить. Вечно все испортят, уж лучше почитать.

Энтузиазм Кунекей угасал на глазах с каждой репликой ребят. Она заметно погрузнела. Не осталось и следа от недавней радости, с которой она принесла в класс свое предложение. Видно, немало надежд связывала она с этой идеей. Но она очень старалась скрыть от всех нас свою обиду, разочарование, свое невеселое настроение. Спокойным голосом, пытаясь улыбнуться, она сказала:

— А что нам тогда придумать? Давайте соберемся потом, когда все посмотрим этот фильм и обсудим его

Мальчишки очень обрадовались этому. Они, вероятно, решили, что дискуссия будет проходить на уроке. Поэтому все как один согласились с предложением учительницы.

Я не выдержала, видя, что ребята ведут себя бессовестно, и сказала:

— Апай, мы пойдем!

— Куда?— не сразу поняла она.— Кто пойдет?

— Девочки! Никто из нас этой картины еще не видел, поэтому все и пойдем.

— Ты что за всех решаешь?— недовольно и грубо вмешался Ерикбол.

— Имангалиев, я говорю только о девочках нашего класса, а не о тебе!— сурово ответила я, посмотрев на него и, обведя взглядом остальных мальчишек, добавила:— И не о вас!

Интересная эта Кунекей, ведь я за нее вступилась, а она, вместо того чтобы меня поддержать, нахмурилась:

— Как же это получается? Выходит, класс наш не единое целое, а два разных лагеря — мальчиков и девочек?— В голосе ее были недоумение и вопрос.

— Девочки не отделяются,— поправила ее Гульнур, вставая на мою сторону.— Это мальчики всегда отделяются. Они так делают, потому что их больше.

Мальчишеская половина класса возмущенно зашумела и поднялась разом против нас, превратив класс в галдящий базар. Среди этого гвалта растерянно и беспомощно стояла Кунекей, переводя взгляд с одного лица на другое. В глазах ее появилась немая мольба.

В конце концов было решено, что в кино пойдут одни девочки, и на этом споры прекратились.

На следующее утро, когда девочки собрались почти в полном составе, кроме Сайры, у дверей кинотеатра возник Азим. Вы бы только видели, как обрадовалась ему Кунекей! Нас, своих верных друзей, она тут же забыла, а появление вредного и озорного Азима сделало ее счастливой, словно исполнилось ее самое заветное желание.

Азим, оказывается, сам купил себе билет. Но Кунекей очень хотелось, чтобы все мы были вместе, и она продала его билет кому-то, и Азим сел рядом с нами, заняв место Сайры, бок о бок с Кунекей.

Судьба Бима, его трагическая жизнь и смерть, страдания от встреч с жестокими людьми не раз вызывали слезы на наших глазах. В зале то и дело слышалось сморкание, всхлипывание и чуть ли не плач.

Припухшие глаза, покрасневшие носы и разводы на щеках от утертых слез, которые мы увидели на улице друг у друга, вопреки ожиданию, ни у кого не вызвали смеха. Даже разговаривать никому не хотелось, и мы шли молча, притихнув, все еще находясь под впечатлением увиденного и потрясшего нас фильма. Даже Азим, казалось, втянул голову в плечи, углубленный в какое-то раздумье.

Кунекей, выяснив на месте, кому в каком направлении и с кем предстояло возвращаться, стала делить нас на группы. Поскольку нам с Гульнур и Азимом было по пути, то и идти нам пришлось втроем. Простившись с нами, Кунекей отправилась домой.

Едва мы отошли от кинотеатра, как я остановилась и сказала ребятам:

— Азим, Гульнур, а почему мы не проводили Куне.. апай до дома?

— В самом деле! Почему мы так не сделали?— повернулась к Азиму Гульнур.

Азим промолчал. Он был единственным мальчиком среди нас и, похоже, смутился от своей оплошности. Заметив это, я решила выручить его из неловкого положения, сказав:

— Впрочем, сейчас уже поздно!

Мы направились к остановке, но тут Азим удивил нас очередной выходкой.

— Ну, я пошел!— бросил он нам и кинулся к подходящему троллейбусу.

Удивленные этим, мы с Гульнур переглянулись.

— Зачем это он приходил, интересно?— пробормотала Гульнур, глядя вслед удаляющемуся троллейбусу.

— Не знаю,— пожала я плечами.— Его вообще трудно понять.

— Может, он испугался?— фыркнула Гульнур.— Испугался, вот и заявился. Он просто трусливый эгоист, который думает только о своем спокойствии.

— А кого ему бояться?

— Кунекей боится, кого же еще! Он знает, что в конце концов обязательно произойдет серьезный и строгий разговор о дисциплине в нашем классе и о поведении мальчишек. Вот он и хочет оказаться в глазах всех белей молока и чище воды.

— Да нет, он вовсе не такой!— не соглашаюсь я с

подругой. Но тут же сомнения охватили и меня: почему же тогда он вчера отмолчался...

И Гульнур, словно подслушав мои мысли, заговорила:

— Вчера-то он вроде с мальчишками был согласен. А сегодня? Никто из них не появился, а он прибежал. Выходит, и им ничего не сказал. Как это понимать? И еще я никак не могу понять того, что ты все время его защищаешь и стараешься выгородить. Видно, недаром Берикбай все время ваши имена рядом ставит

Эта готовность Гульнур всегда увидеть во всем корысть, что-то плохое, очернить кого-то, бесцеремонно вмешаться, не думая, что она может задеть человека, обидеть его, мне всегда не нравилась. Однако есть у ней и такая черта характера: она быстро забывает и то, что ее обидели, и то, что она обидела, и, как ни в чем не бывало, продолжает по-прежнему ровно относиться ко всем, обезоруживая этим каждого. Я знаю, что в душе она считает меня своей самой близкой и верной подругой, а вот я до сих пор не знаю, за кого ее принимать. Сказанные ею слова я оставила без внимания и ничего на них не ответила. Почувствовав мое недовольство, она, словно ничего особенного и не произошло, продолжает открыто и задумчиво:

— Да нет, и в самом деле! Разве правильно вот так вот взять и убежать, что-то буркнув себе под нос? Это даже некультурно. Взял и бросил нас, оставил одних.

— А может, это и правильно, ты-то что знаешь?

— Конечно, откуда нам знать!— поджала губы Гульнур и фыркнула, как рассерженная кошка.

У меня лопнуло терпение. «Вот как! Я не стану прощаться с Гульнур и молча выйду на своей остановке. Пусть это и будет ответом на ее невоспитанность. Может, что-нибудь и поймет,— решила я про себя.

На следующей неделе на одном из своих уроков Куней обвела взглядом всех присутствующих и спросила:

— Скажите, все вы успели посмотреть фильм?

— Да! Успели!— зашумел класс.

— Значит, можно начать обсуждение?— обрадовалась она.— Ну, как же мы начнем дискуссию? У кого какие будут предложения?

— Пусть кто-нибудь встанет с места и перескажет вкратце содержание картины, а мы дополним то, что он упустил, выскажем каждый свое мнение и расскажем о

впечатлениях,— поднялся с места Сейтеш По моему все обсуждения обычно так и проходят

— Что же мы тогда будем обсуждать фильм или доклад?— удивилась Кунекей.

— Если нужно, то будем подробно обсуждать и доклад, и кино, что в этом такого?— пожал плечами Сейтеш

— Что же тогда получится, ребята?— спросила Кунекей.

В это время поднял руку Азим:

— То, что предлагает Сейтеш, больше похоже на собрание. Я думаю, что лучше каждому написать о фильме домашнее сочинение. Пусть темой его будет «Жестокость и милосердие». Пусть каждый своими словами расскажет о том, какие мысли и чувства пробудил в нем фильм А потом, апай, вы из этого сделаете определенные выводы, оценки.

Тут, без всякого разрешения, снова вскочил Сейтеш с недовольным выражением лица:

— Выходит, за эту работу будут выставлены оценки? В голосе его был протест

— Не-ет, оценки за это сочинение вовсе не обязательно выставлять,— успокоила его Кунекей, которой, и это по всему было видно, понравилось предложение Азима Она сразу его поддержала.— Отметки вы сами друг другу поставите и объективно оцените работу каждого из вас Это очень правильное и хорошее предложение. Как хорошо ты придумал! Сейтеш, ты не обижайся, но то, что предложил Даулов, мне пришлось по сердцу. Ребята, а вы что об этом думаете?

— А что об этом думать? Раз вы приняли, пусть так оно и будет,— сказала большинство.

Судя по этому пассивному отношению класса я невольно пришла к мысли о том, что остались еще у нас такие, кто так и не посмотрел этот чудесный фильм А идея Азима, не скрою, очень понравилась и мне Итак, «Жестокость и милосердие». Интересно, как напишет сочинение на эту тему сам Азим? Ведь если он подал такую идею, значит, есть у него и разные мысли, и примеры из жизни.

На первый взгляд все очень ясно и просто: жестокость — это есть черномыслие и подлость, равнодушие и злорадство, а милосердие — значит великодушие и благородство, человечность и доброта, мудрость и тепло человеческого сердца. Взять хотя бы фильм об этой чудес

ной собаке. В нем все друзья Бима как раз относятся к людям милосердным, добрым и благородным, а те, кто видит в нем всего лишь никому не нужного уличного пса, кто преследует его несправедливо или с корыстью, наоборот, принадлежат к категории людей жестоких. О чем, кроме этого, можно написать в обычном школьном сочинении, даже если оно предложено самими школьниками? Ну, можно впоследствии дать характеристики каждой общественной группе людей, каждому эпизодическому герою. А потом, конечно, сделать свои выводы и поставить точку.

Свои мысли мне полностью удалось изложить всего-то на двух тетрадных листках.

Я была уверена, что о жестокости и милосердии все наши ребята напишут мало нового и никаких особых открытий не сделают. Эти человеческие качества, возможно, родились еще до появления человека на земле и проявлялись бог знает в какой форме. Во всяком случае, они все время были с человеком, на протяжении всей его истории. Там, где есть жестокость, ей противостоит милосердие. Где зло поднимает голову, там встает на его пути доброта. Это истина, не подлежащая сомнению.

* * *

— Вы все написали прекрасно. Мне понравилось. Но одно сочинение я хочу отметить особо. Это работа, написанная Дауловым. Где Азим, он что, сегодня не пришел на уроки?— спросила Кунекей и вытянула шею, высматривая Азима.

— Он был сегодня в школе, апай. И на уроках присутствовал. Просто они вдвоем с Батырбаевым сбежали с вашего урока. Видите, даже портфелей их нет, с собой утащили. Я заметила на перемене, как они улепетывали,— сообщила Гульнур, верная своей привычке сообщать обо всем подряд, считая это прямою характеристикой и смелостью.

Лицо Кунекей осталось непроницаемым, словно она заранее знала о том, что сегодня с ее урока должны сбежать Азим и Нурат. Негромким спокойным голосом она обратилась к Гульнур:

— Хорошо, Сайрамбаева, можешь садиться. Видно, у них была серьезная причина для ухода, это мы потом выясним,— и стала продолжать разговор о сочинении

Даулова.— Даулов написал очень хорошо. Он даже ни слова о виденном фильме не сказал. Не считал необходимым говорить о чужом произведении, хотя оно великолепно во всех отношениях. У него уже были свои мысли, выношенные, выстраданные, свой взгляд на сложности человеческих отношений. Главное, он не стал повторять те азбучные истины, которые всем нам хорошо известны и без которых все мы вполне могли обойтись в нашей работе. Понятия жестокости и милосердия он объяснил по-своему, как он сам их понимает, и защищал свои убеждения так убедительно, таким доходчивым языком, что не отметить это сочинение просто невозможно. К его мысли я присоединяюсь и позицию его полностью разделяю, я счастлива тем, что нашла в своем ученике единомышленника, умеющего высоко мыслить, логично излагать и умело отстаивать свои взгляды. Поэтому я отвела работе Азима особое место. А свое сочинение он нам сам прочитает на следующем уроке.

Гульнур не вытерпела и вскочила с места:

— Апай, почему вы так высоко оценили его сочинение и хвалите его, когда он является в нашем классе одним из самых недисциплинированных мальчиков, злостным нарушителем. Он даже сегодня с уроков сбежал. Он же самый настоящий, самый... Если сказать правду, он и вас...

Я с силой дернула ее за руку, едва успев остановить на полуслове. Гульнур, наверное, хотела сказать учительнице о том, что это Азим придумал ей прозвище «Кунекей» и что теперь весь класс за спиной учительницы только так ее и называет, однако я ее опередила:

— Апай, Сайрамбаева ничего не знает. Сегодня весь день Даулов жаловался на зубную боль. Вероятно, он не вытерпел и поэтому ушел, не успев никого предупредить. А до этого он никогда с уроков не убегал.

Кунекей стояла молча, переводя взгляд с меня на Гульнур, словно силилась и никак не могла вспомнить что-то. А я с тревогой следила за Гульнур, опасаясь, что она продолжит и закончит свою мысль. Да не только я одна, но и почти все ребята глаз с нее не сводили, словно их судьба зависела сейчас только от нее одной. Из неловкого положения нас вывела сама Кунекей:

— Садись, Сайрамбаева. Сейчас у нас идет разговор не о поведении Даулова, а совсем о другом. О дисциплине

мы успеем еще поговорить в другое, более подходящее для этого время.

Выгородив таким образом Азима, я так до конца и не осознала того, как отреагировала на это Кунекей. Понравилась ей моя защита или нет? Честно говоря, я придумала это не ради Азима, как могло показаться со стороны, а ради того, чтобы уберечь Гульнур от опрометчивого шага, после которого Кунекей стала бы считать ее ябедой и сплетницей, а класс и вовсе потерял бы к ней уважение. К тому же, как бы нежно ни звучало прозвище «Кунекей» — все же оно отчасти было похоже на насмешку, и бог знает как бы отнеслась к этому сообщению сама классная руководительница. Что касается поступка самого Азима, то как ни говори, а это все же явная недисциплинированность. Его понять почти невозможно. Сложный он человек. Мало того что сам удрал с урока, еще взял и прихватил с собой этого Клоуна-Нурата!

На перемене класс дружно восстал против Гульнур.

— Эй ты, «Крик моды»! Ты что, хочешь выбиться в любимицы Кунекей, предавая товарищей? — подступил к ней Ерикбол.

Рыжий Сейтеш и тут не остался в стороне.

— До чего же она, оказывается, бессовестная! Наверное, из таких вот и выходят предатели и подхалимы! — воткнул-таки он в Гульнур свой острый как жало язык.

— Вечно она выскакивает, когда ее не просят! Выскачка! Эх ты, «Последняя мода»! — послышался голос Сайры.

Гульнур, опустив глаза, молчала, не решаясь ничего ответить мальчишкам, зато, услышав слова, сказанные Сайрой, повернулась к ней и, задыхаясь от злости и обиды, крикнула:

— А ты чего выступаешь, Саннова? Лучше бы позавботилась о том, чтобы еще раз не остаться в восьмом классе — уже на третий год, поскольку у тебя в голове не мозги, а простокваша! «Кислые мозги! Кислые мозги! Попробуй с такими в девятый перейти». Смотри, как бы наш Еж не придумал такие стихи про тебя!

— Ого! Да вы только посмотрите! Она же законченная поэтесса! — насмешливо заметил Сейтеш.

И вдруг, откуда ни возьмись, возник как из воздуха Нурат и торжественно провозгласил:

— Нашел! Эти стихи можно закончить таким образом! «Прокившие мозги! Вы только поглядите! С мозгами как

кефир в девятый перейдите! От дурусти такой не лопнуло терпение! И подлости большой не будет снисхождения!»

Злые слова Гульнур, обращенные к Сайре, которая и в самом деле была второгодницей, должны были ударить по ее самолюбию и опозорить перед классом, однако все обернулось против самой Гульнур. Сделав вид, что не поняла прозрачного намека, Гульнур вскинула гордо голову и твердым шагом вышла из класса. Побледневшая от обиды Сайра так и осталась сидеть на месте.

В этой стычке я осталась сторонней наблюдательницей, потому что после размолвки, происшедшей между мной и Гульнур после просмотра фильма, в наших отношениях чувствовался холодок. В этот раз у меня не было желания ни вставать на ее защиту, ни выступить против.

* * *

Ну кто мог предполагать, что случится такое безобразие! В тот день после уроков Сайра и Гульнур чуть ли не подрались на улице, пустив в ход руки. Вернее, все произошло не на улице, а на школьном дворе. Сейтешу, который помешал им, досталось по лбу металлическим уголком портфеля, который расцарапал ему до крови висок. На следующее утро об этом событии объявил на общешкольной линейке сам директор школы. Подобного в истории нашей школы до сих пор не случалось. Были случаи, когда дрались мальчишки, но такого, чтобы между собой сцепились девчонки, никто не помнил.

Это происшествие добавило славы нашему восьмому «Б».

— Разве не восьмой «Б» тянет назад всю школу, мешая получить высокую, стопроцентную успеваемость и вообще стать образцовой? Если бы не этот восьмой «Б», школа давно бы уже стала передовой школой города по успеваемости и дисциплине. В семье, говорят, не без уroda. Таким уродом как раз и является наш восьмой «Б», — с горечью и болью говорил директор о скандальном происшествии, о нашей безответственности и разгильдяйстве. При этом вид у него был такой подавленный и грустный, что казалось, он уже не надеялся на какие-либо перемены к лучшему в нашем классе. Скорее всего он выполнял свой долг педагога, стремясь, вероятно, предостеречь других учащихся, главным образом младших классов, от наших ошибок. Наверное, и сам директор, и учителя

смириться с таким ударом судьбы, как существование восьмого «Б», нашего восьмого «Б»! Но что-то ведь нужно было делать. И на нас обрушились суровые слова, серьезные упреки, а мы как один стояли с низко опущенными головами. Каково, интересно, Кунекей, которая находилась среди учителей, ощущая собственную вину за происшедшее. Мы не сомневались в том, что так оно и было, глядя на несчастное выражение ее лица.

Перед всей школой директор обратился к комитету комсомола. Он сказал:

— До тех пор, пока не наладится дисциплина и не повысится успеваемость, я предлагаю ни одного ученика восьмого «Б» класса не принимать в ряды комсомола и не рассматривать его заявления.

Какой ужас! Позорнее этого ничего, наверное, быть не могло. Мы сникли. И кто мог подумать, что именно в этот момент наша Кунекей, один вид которой вызывал острую жалость, смело выступит вперед и открыто скажет о том, что она против такой крайней меры:

— Товарищ директор, я решительно против того, чтобы такая мера воздействия была применена против моего класса. Я считаю такое наказание чрезмерным и несправедливым, поскольку в классе есть немало ребят, достойных быть в рядах комсомола...

— Может быть, товарищ Батанова, вы считаете восьмой «Б» даже хорошим классом? Ваши слова наводят на эту мысль...

— Вы правы, я этот класс не склонна считать таким уж плохим.

Казалось, только сейчас Кунекей осознала всю отчаянность своего безоглядного поступка и поэтому вдруг сжалась, побледнела, и голос ее чуть дрогнул. Едва заметное волнение прокатилось по нашим рядам.

Директор только плечами пожал, словно говоря, что раз дело повернулось таким образом, то ему больше и добавить нечего.

Окончание линейки было очень необычным. Не были отмечены передовые отряды, лучшие звенья и образцовые классы. Разговор начался с восьмого «Б» класса и восьмым «Б» закончился. То, что сделала Кунекей, по-моему, можно было расценить как самое настоящее героизм. Класс уже давно пользовался худой репутацией, и ради него, мне кажется, не стоило приносить себя в жертву

После линейки Кунекей посмотрела на нас и сказала только одно:

— Из-за вас мне пришлось испытать такой стыд, которого я в жизни еще не переживала...

Класс молчал. Конечно, можно было в ту минуту встать и искренне попросить у нее прощения от лица всех и каждого в отдельности, пообещать, что в будущем ничего подобного не повторится и что отныне наш класс станет самым лучшим по поведению и по уровню знаний. Но в глубине души я хорошо понимала, что Кунекей ждала от нас не заверений, а именно такого молчания, этой тишины. После этого она сразу приступила к уроку

* * *

Тому нововведению, что придумала Кунекей, папа мой категорически воспротивился.

— Откуда это взялся такой порядок, при котором из одной семьи сразу двое должны присутствовать на родительском собрании? Что изменится, если придут оба — и отец и мать? Странно это с ее стороны. Ладно, на первый раз мы, так и быть, сходим, но все же сказать ей следует, что это ни к чему. Ни к чему! Слишком много дел, чтобы понапрасну тратить время. У каждого их достаточно и дома, и на работе.

— Мама была не совсем с ним согласна.

— Раз скажю, чтобы мы пришли,— значит, надо пойти. К тому же, она является, оказывается, не только новой учительницей, но и их классным руководителем. Надо и нам посмотреть, что это за человек,— сказала она.

Уходя, родители поручили мне присмотреть за братом, убрать посуду и протереть пол. Из всех заданий сложнее всего было выполнить первое. Бекбол, мой братишка, сначала вдоволь наигрался на улице, пользуясь тем, что родителей нет дома, и не обращая особого внимания на мой зов. Потом, придя наконец домой и шатаясь от усталости, он прошел на кухню и кое-как поужинал.

— Садись сейчас же за уроки!— потребовала я, после того как он поел.

Бекбол отправился в детскую, а я принялась заканчивать уборку квартиры. Спустя некоторое время я заглянула в комнату, где занимался мой братишка, и увидела, что он заснул прямо за письменным столом, уронив го-

лову на учебник географии. Попытки растолкать его и заставить делать уроки успеха не принесли. «Ну что ж, дело твое. Вот скоро придет папа, тогда посмотрим!» — сказала я и больше к нему не подходила.

Однако дверной звонок сразу разбудил Бекбола, который тут же поднял голову и с сосредоточенным видом уставился в книгу. Единственный человек в доме, которого побаивается братишка, — это папа. Мамины замечания и даже редкие подзатыльники, которыми она его одаривает, когда уж очень выходит из себя, не производят на Бекбола ровно никакого впечатления. Меня же он вообще к числу взрослых не относит. Он себя считает ровней мне и обращается со мной довольно свободно, испытывая на мне все худшие стороны своего характера.

Я открыла дверь. Папа был в хорошем настроении и вошел, продолжая о чем-то оживленно рассказывать.

— Оказывается, раньше им и пикнуть не давали, раскрыться не позволяли, всякую инициативу зажимали. В школу было страшно идти. А теперь всех до единого расхвалили, каждого сумели оценить. Конечно, совсем испорченных детей нет в их классе, вон и учительница сказала, что все они очень способны к учебе, — говорит папа, вешая на крючок свое пальто. — Росточком сама она чуточку выше нашей Бсты, хрупкая такая, невысокая. А как умеет говорить, как умно рассуждает! Нет, сам я, с тех пор как Бота стала школьницей, не встречал еще такого воспитателя среди учителей. Она — настоящий педагог. От рождения и по призванию, можно сказать. И — это лишним не будет — очень талантливый человек.

— Ладно, хватит тебе при ребенке так много говорить! Разве есть учитель, который бы хотел, чтобы его ученики были плохими? Как бы там она ни говорила, все хотят, чтобы они стали хорошими и выросли людьми, — охладила его пыл мама, желая немного уменьшить хвalebный поток в адрес Кунекей.

Но папа все никак не унимался:

— Вопрос о том, чтобы ребенок сам руководил своим воспитанием, очень правильный. Это повышает в большей мере его ответственность за себя, за своих товарищей, за свое будущее. Это развивает сознательность и чувство гражданственности. Основа этой проблемы, говорят, кроется в психологии. И обращение к науке — очень современное дело. Это не то что формальный подход, при котором дается задание, а выполнение его пущено на

самотек и чаще определяется желанием самого ученика. Выполнишь — хорошо, а не исполнишь — так это твое дело. Она говорит о том, как важно, когда ученик сам дает оценку своим мыслям, своим чувствам и своим поступкам, определяя, хорошие они или плохие, как относятся к ним окружающие. Самокритичность помогает становлению личности. Это очень правильно! От того, что их ведут через жизнь за ручку, постоянно опекают или окружают запретами и ограничениями, толку мало. Из таких детей никогда не вырастут настоящие люди, — продолжал папа, желая, очевидно, поделиться накопившимися мыслями. — Доказательством тому являются предыдущие поколения и наши сверстники. Перед войной и во время войны мы учились в школе. Кто нас контролировал, кто с нами нянчился, кто опекал? Никто. До обеда мы учились, потом до поздней ночи не разгибали спины на колхозной работе. Да, мы были настоящими колхозниками, сознательными тружениками, потому что наша работа была нужна фронту, народу, победе. Легко ли было? Дети, старики, вдовы да жалкие клячи! Недаром русские женщины выплакивали частушки: «Сама лошадь, сама бык, сама баба и мужик!» И к нам относились как к взрослым. Мы знали, что надо делать. Никто нас этому не учил, никто не уговаривал. Никому и в голову не приходило нянчиться и просить. Вот когда еще была по-настоящему доказана необходимость самовоспитания чувства высокой ответственности. Разве не об этом говорила эта маленькая девушка... Я об их учительнице говорю. Очень правильно сказала, умный она человек! А ты заметила, какую глупую реплику подал с места этот, как его, ну тот, что на месте не мог усидеть и все вскакивал? Чей он отец, не помнишь? Ах да, Сейтеша Бектурова! То, мол, совсем другое время, другие нравы, а это время не такое, новое, не похожее, зачем же вводить чуть ли не каторжные порядки без необходимости, дети есть дети, и без детства их оставлять нельзя... А главного не понял! Я же не предлагаю для них режим особый вводить, речь-то идет об ответственности каждого за себя и за другого.

Я подумала, что папе, очевидно, очень понравилось то, что его педагогические воззрения полностью совпали с взглядами на воспитание этой молодой и симпатичной учительницы. Дай ему волю, так он поставил бы имя Кунекей в ряд великих педагогов, чьи имена освещают жизнь многих поколений. Если послушать папу, то можно

подумать, что вернулись они не с обычного классного собрания, а с научной педагогической конференции, срочно созванной для обсуждения крайне актуальной проблемы по нравственному воспитанию целого поколения детей. А я сидела и представляла себе Кунекей совсем с другой стороны.

Педагогика, ее сложные проблемы, воспитание в школе и в семье, повышение ответственности в деле самовоспитания — все это долго еще было темой разговора в нашем доме в тот вечер. Выступающим и обсуждающим был мой папа, слушательницей и молчаливо поддерживающей стороной была мама, а я просто присутствовала без права голоса. Что касается Бекбола, так в тот вечер ему легко удалось избежать нудной, строгой и обязательной проверки домашних заданий на завтра.

* * *

Если бы речь шла о любом другом классе, то дело другое, а вот говорить о предоставлении самоуправления восьмому «Б» было просто нелепо и нереально. Мне кажется, что в педагогическом методе Кунекей, применяемом к нашему классу, есть только отдельные элементы этого важного принципа. Примеров этому сколько угодно. О причинах бегства с урока Азима, который увел с собой и Нурата, она ни на следующий день, ни после не спросила. Мало этого, ее даже не рассердило то, что на классном собрании Азим наотрез отказался читать вслух свое сочинение. Она не стала возвращаться и к той безобразной стычке между Гульнур и Сайрой. Об этом нашумевшем на всю школу событии она ни словом не обмолвилась на родительском собрании, и об этом не узнали даже родители виновных. Кунекей простила и тот отвратительный поступок ребят, когда нас с ней заперли в пустом классе. Было немало случаев, когда наш трудный класс доставил ей массу неприятных минут. Но она смолчала и проявила редкую выдержку, причем не хмурилась, как ненастный день, не изображала на лице страдание и вообще не демонстрировала нам своего героизма. Наоборот, держалась всегда ровно, открыто и доброжелательно, словно ничего особенного не произошло. Только глаза Кунекей оставались всегда очень внимательными. Эта незлобивость и мудрое спокойствие подкупило нас, мы прониклись к своей учительнице доверием и симпатией. Постепенно каждый

из нас открыл в ней для себя друга; класс, сам не замечая этого, потянулся к Кунекей. Не читая нотаций, не делая наставлений, она сумела объяснить им, что такое коллектив, каким он должен быть, чтобы могла возникнуть и развиваться хорошая, крепкая дружба.

В воскресенье, спустя несколько дней после того как у нас прошла линейка, Кунекей позвала весь класс на лыжную прогулку в горы. Несмотря на то что у многих из нас вовсе не было лыж, ее предложение все приняли с дружным восторгом.

— У кого есть дома лыжи?— спросила она. Поднялось всего несколько рук.— Что же нам делать?— опечаленно спросила она и задумалась, закусив нижнюю губу.— А я так хотела, чтобы мы все пошли в горы на лыжах!

Класс зашумел:

— Давайте пойдем! Ну давайте сходим!

— А где же мы достанем лыжи на всех?

— В спортзале возьмем, агай! У них там лыжи отличные, во!— вскричал Нурат и выставил большой палец.

— В спортзале, говоришь? Это идея! Только вот доверят ли, дадут ли нам лыжи?— и Кунекей незаметно, краешком глаза оглядела класс.

Шум утих разом. Класс замер на миг, словно затил дыхание. Возникшую паузу нарушила сама Кунекей:

— Ну хорошо попробуем все же попросить! Может, нам поверят и дадут. О результате переговоров я вам сама потом сообщу.

Если бы в этот раз нам отказали и не выдали лыжи из спортзала, то зарождающееся понимание, чувство единства, слабый росток дружбы — все это было бы поставлено под удар. Может, поэтому класс ждал сообщений Кунекей с тревогой, понятным нетерпением и волнением. Может быть, в то время мы впервые серьезно задумались и о том, что такое авторитет класса, его имя.

Получив новенькие, еще не использованные лыжи, наша Кунекей радовалась, наверное, больше всех нас. Однако мы поняли, что наша солнечная Кунекей была счастлива вовсе не из-за этих лыж.

К месту отправления в лыжный поход класс пришел вовремя и в полном составе. Рядом с Кунекей стоял какой-то незнакомый парень.

— Ребята, познакомьтесь, пожалуйста! Это мой хороший друг Зовут его Саян... Да-да, Сейтеш, ты прав.

Есть и горы с таким именем. Да разве и сам он не высок, как гора? Посмотрите-ка!

Мы дружно рассмеялись. Смешно стало и джигиту, он широко улыбнулся, и мы почувствовали его уже почти своим. Оказывается, Кунекей и Саян принесли с собой свои лыжи. В один автобус мы все не поместились и, договорившись встретиться на конечной остановке, разделились на две группы. Одну из групп возглавил Саян.

Скоро мы узнали, что у нашей Кунекей, оказывается, первый спортивный разряд по лыжам. А ее веселый улыбчивый друг уже имел высокое звание мастера спорта СССР.

Однако, к нашему великому сожалению, нам пришлось кататься на лыжах по местности ровной как стол. Все это вышло из-за того, что горы окутал густой туман и подниматься туда было опасно. Горы шуток не любят. Мы ждали, пока туман рассеется. Ну а когда он рассеялся, то у нас у самих сил уже не осталось на то, чтобы подняться вверх. Гонки по равнине достаточно измотали нас. Усталые, но веселые, мы уселись у подножия горы, на открытой приветливой равнине, собрали в кучу все, что взяли с собой из дома, и поели с таким аппетитом, словно неделю были без пищи. Никто из нас нисколько не жалел о том, что принял участие в этом походе. Друг Кунекей очень понравился нам. Это был веселый, неунывающий — словом, вполне компанейский человек.

Вскоре лыжные прогулки вошли в нашу привычку. Без них нам словно чего-то не хватало. И всегда вместе с нами был Саян. Кунекей, наверное, догадывалась, что если его не будет, наш поход будет не таким веселым и радостным. Мы тоже очень привыкли к нему, и нам не хотелось оставлять Саяна, даже если мы шли не в горы, а в кино или в театр. В субботу, после занятий, мы договорились пойти на большую городскую выставку юных техников, организованную в просмотровом зале, а кроме того, была еще идея сходить в кино.

На выставку и в кино предложил сходить Азим, и мы все дружно согласились. Оказалось, что в зале была выставлена модель одной чудесной машины, которую построил наш Азим своими руками. Но об этом мы, конечно, не знали до последней минуты. В тот день Кунекей пришла на уроки чем-то очень расстроенная. Когда мы вышли с занятий, она сообщила нам о том, что сегодня на выстав-

ку нам придется идти без Саяна. Спросить о причине его отсутствия мы почему-то не решились.

Кунекей старалась скрыть от всех нас свое настроение, но это ей плохо удавалось. Модель Азима, которая могла летать, как самолет, плавать, как лодка, и ездить по суше, как автомобиль, она оценила как результат высокой конструкторской мысли. Модель действительно была очень интересной. Мы вполне разделяли восхищение нашей учительницы этой прекрасной работой. Надо сказать, Азим был не из тех, кто любил похвастать, однако в этот раз просто не мог удержаться от того, чтобы не рассказать о своей машине. Он так подробно и вдохновенно перечислял все ее особенности и достоинства, что мы поняли, каким интересным делом он увлекся.

На выставке было множество очень интересных моделей, однако модель Азима Кунекей оценила выше всех. Нас охватила гордость за товарища и радость за его успех.

Начиная с этого дня восьмой «Б» потерял своего Саяна. Тем, кто все же решился спросить о нем у Кунекей — вроде сгорающей от любопытства Гульнур, она отвечала, что он в дальней и долгой командировке. Однако любая командировка имеет свой конец, а поездка Саяна что-то не кончалась. Восьмой «Б» начал было даже забывать о нем, как вдруг вездесущая Гульнур принесла совсем неожиданную новость. Оказывается, вчера она видела на улице Саяна с совсем другой девушкой, видно с новой подругой. Увидела и стала за ними следить. Они зашли в кафе, где продавалось мороженое и соки. Однако Гульнур войти туда не решилась, потому что в кафе народу было немного и она боялась, что ее заметят. Пришлось ей дожидаться их на улице. Они задержались в кафе на такое время, что за этот срок вполне можно было бы съесть не одну, а двадцать порций мороженого. Однако Гульнур проявила завидное терпение и стойко продолжала ждать. Наконец они вышли. Теперь Гульнур удалось рассмотреть новую подругу Саяна. Ей показалось, что девушка была такого же роста, как и Кунекей, но гораздо ярче, модней и красивей. Сначала, когда Гульнур ее увидела, она даже приняла ее за Кунекей, только несколько необычно одетую.

Рассказ Гульнур затянулся. Видно, то обстоятельство, что весь класс слушал ее затаив дыхание, вдохновляло ее. Да, такое внимание ребят возвысило Гульнур в собственных глазах, потому что не могло ей не польстить, да и было, можно сказать, для нее редкой удачей. Она ста-

ралась передать каждое движение своей души, каждое чувство, испытанное ею вчера: и удивление, и радость, и разочарование, и ревность, и злость, и зависть... В конце концов ребята не выдержали.

— Ну что ты тянешь душу, как кишку! Говори короче и самое главное! Что было дальше? Ты так и таскалась за ними?— сердито спросил Ерикбол— совесть и глас класса.

— А что ей еще делать, когда дело по сердцу нашлось? Интересный ты, Ерикбол! Да ведь ее хлебом не корми, дай посплетничать и пошпионить!— не выдержала и съязвила Сайра, сумев отомстить Гульнур за недавнюю обиду.

— Они сели в такси и уехали,— сказала Гульнур недовольным тоном, резко оборвав свой рассказ.

— Ай-ай-ай, как нехорошо получилось!— покачал головой вредный Сейтеш, который и на этот раз не изменил своей привычке.— Ты бы хоть поздоровалась с дядей Саяном и передала ему привет от нас.

— Выходит, все твои труды были напрасны, «Последняя мода» — вздохнул Нурат.— Ну что тебе стоило сесть в другое такси и начать их преследовать. Вот был бы детектив!

— Видно, другое такси ей под руку не попало, иначе бы наша Гулекен не оставила такое дело на полпути, разве не так?— продолжал донимать Гульнур неугомонный Сейтеш.

Азим, который до сих пор хранил полное молчание, заговорил веско и зло:

— Довольно шутить, Бектуров! И всем вам хватит насмешничать! Над кем смеетесь, над чем издеваетесь?! Эх вы! Не такое это дело, чтобы над ним смеяться. Знайте же и запомните накрепко! У тебя, «Последняя мода», никто ничего не спрашивал, и ты ничего не видела! Держи язык за зубами и вообще крепко замкни его на ключ, поняла? Иначе с тобой будет совсем другой разговор. А я слов на ветер не бросаю, ты об этом знаешь.

Я не узнала Азима. Такую перемену в нем я видела впервые. В глазах его сверкала ярость.

В другое время Гульнур непременно бы огрызнулась, заспорила и оставила бы последнее слово за собой, а тут промолчала, втянув голову в плечи, сникла, словно ее окатили ушатом ледяной воды. Да и весь класс как-то неловко замолчал в растерянности. Даже Ерикбол на этот

раз смолчал, задумавшись о чем-то. Перемена кончилась, и мы молча разбрелись по местам, ожидая прихода на урок Кунекей.

С того дня мы, как по уговору, никогда больше не затевали разговора о Саяне. Никто из нас не вспомнил больше того, кто так и не вернулся из бесконечной поездки в предательство.

* * *

То, что в Азие произошли такие серьезные перемены, было победой Кунекей. Прежний Азим постепенно превращался в другого Азима. Класс начинал все больше понимать свою руководительницу и сознательно подчиняться ей. Чувствовалось влияние Азима на класс. Благодаря ему многие сумели взглянуть на себя со стороны. Кажется, он и сам не заметил того, что стал в этом смысле главным помощником Кунекей. Азим просто не почувствовал этого. А изменения в классе, если говорить языком точной геометрии, произошли на 180 градусов. Впервые в истории восьмого «Б» был поставлен небывалый рекорд по успеваемости. Даже у Сайры учеба выровнялась настолько, что для нее исчезла угроза снова остаться в восьмом классе. Я чувствовала, что вместе с успехами класса рос в школе и авторитет нашей Кунекей.

Мой папа, зная о наших грандиозных успехах, стал безудержно хвастаться тем, что он первый из родителей с самого начала сумел обнаружить педагогический талант, воспитательские способности юной учительницы и заметил ее незаурядные человеческие достоинства. Он почти гордился тем, что с самого начала высоко оценил все положительные качества Кунекей, вернее не Кунекей, а Фариды Алибаевны, как он ее называл. И вообще, в классе все реже стали произносить это симпатичное прозвище даже за спиной учительницы. Кстати, как-то незаметно для себя, все мы стали называть ее даже в разговорах между собой по имени-отчеству

* * *

В окна класса все чаще заглядывало ласковое весеннее солнце.

Кто знает, откуда взялась эта черногрудая птица, которая никак не хотела улетать от нашего окна, все

вертелась и сладко щебетала, озабоченная своими птичьими делами. Видно было, что птица нашла где-то поблизости удобное и надежное место для своего гнездышка. А как она пела!

Карагачи и березы, тополя и дубы, урючины и вишневые деревья украсились пробившимися клейкими ярко-зелеными листочками. Быстро и незаметно набросила на землю разноцветную шаль весна.

Голова кружилась от медвяных запахов так, что обо всем на свете можно было забыть. Но Кунекей, которая каждое воскресенье находила для нас какое-нибудь интересное занятие, и в эти дни не изменила своей привычке.

— Ребята, если хотите, сходим завтра в горы. Место сбора — школа. Время сбора — 9.00, — коротко объявила она нам.

— Апай, а в какую сторону гор мы пойдем? — поинтересовался Ерикбол.

— Об этом мы договоримся завтра, — сказала Кунекей и, отчего-то смутившись, добавила: — Может быть... мы пойдем на наше старое место, где зимой катались на лыжах?

Мы промолчали, но наше молчание красноречиво выражало согласие.

На следующее утро мы поехали на свое старое, хорошо знакомое место.

Веселое весеннее солнце сияло ярко, не желая даже на миг прикрыть свои лучистые золотые ресницы и наполняя наши молодые сердца неудержимым задором. Ранняя зелень ласкала взор своим нежным цветом. Но ближе к полудню прогулке нашей стала угрожать беда. Погода вдруг испортилась. Небо затянули стремительные свинцовые тучи. Холодная тень закрыла устья горных ущелий. Тяжело и грозно зарокотала ставшая черной река. Мы стали быстро складывать в сумки свои ракетки и мячи, засобиравшись домой. До поселка, прилепившегося к склону горы, откуда шел до города единственный автобус, было довольно далеко. Кунекей в тревоге стала нас торопить.

Однако грозившее ненастье не смогло испортить нашего хорошего настроения.

Все больше хмурились лиловые тучи, пока вдруг не обрушились на землю холодными потоками дождя. Все вокруг стало сразу серым, мокрым и неудобным. Стена разразившегося ливня мутным стеклом закрыла четкие

очертания горных пиков и зубчатых скал. Трава стала скользкой, дорога расползалась под ногами. Мы в один миг промокли и стали похожи на продрогших мокрых цыплят. Зубы от холода стучали так, что сосед слышал соседа, Кунекей не знала, что делать. Особенно жалким был вид нашей Гульнур, которая надела в горы модные джинсы и легкую курточку, какой ни у кого из нас не было. Кунекей сняла с себя и отдала ей свою непромокаемую теплую куртку.

В тревоге и беспокойстве за нас, она, казалось, забыла о том, что сама прозябла до костей. Азим снял с себя куртку и предложил учительнице, но она, слабо улыбнувшись, отказалась и как можно строже велела ему побыстрей надеть ее самому. Когда мы добежали наконец до остановки, на наше счастье тут же подошел автобус. Толкаясь и галдя, мы втиснулись в него. Пожилой водитель сочувственно оглядел нас, но больше всех пожалел он посиневшую Кунекей.

— Да ты совсем озябла, дочка! — ласково сказал он и, сняв теплую безрукавку, протянул ее Кунекей. — Ну-ка, быстренько закутайся!

— Спасибо, агай! Ничего страшного, мы сейчас мигом согреемся! — залепетала она в ответ, отказавшись от безрукавки.

Но шофер даже слушать ее не стал. Он прошел по салону и чуть ли не силой надел меховую безрукавку на плечи Кунекей, которая, не переставая дрожать, съежилась, сжавшись в мокрый комочек.

Что касается меня, то я молила бога, чтобы наша заботливая и любимая учительница не простудилась и не слегла. Вернувшись домой, я хорошенько отогрелась, напившись чаю с малиной, и поделилась с родителями своими опасениями.

— Бедная девочка! Так и воспаление легких можно схватить! — забеспокоились они.

В тот раз я впервые подумала о том, есть ли близкие у нашей Кунекей. «Удивительно, как мы об этом ни разу не подумали!» — мелькнула у меня мысль.

Папа как будто подслушал меня:

— Кстати, вы знаете, где живет ваша учительница? Есть ли у нее кто-нибудь из родных?

Вместо ответа я молча пожала плечами, говоря, что ничего этого я не знаю.

— Выходит, она вам о себе ничего не рассказывала? —

спросил отец и поинтересовался тем, что же мы все-таки знали о своей классной руководительнице.

— Она нам ничего не говорила, а мы постеснялись спросить. Да и в голову нам это, признаться, не приходило,— сконфуженно ответила я.

Папа промолчал. На этом наш разговор о Кунекей был закончен. А я продолжала беспокоиться об ее здоровье. Возможно, об этом же думал и Азим. А может, и не мы одни, а многие вспоминали то, как сильно она замерзла.

Опасения наши оказались не напрасными. Кунекей заболела. Ее урок провела у нас Мансура-апай.

Теперь только восьмой «Б» по-настоящему понял, кем была для всех нас Кунекей. Понял именно в тот день, когда она не пришла в школу.

После уроков никто не стал торопиться домой. Мы собрали всю мелочь, какую удалось найти в карманах, на собранные деньги купили букет нежных пахучих тюльпанов, добавив коробку конфет «Птичье молоко», и в полном составе отправились искать малоизвестную улочку на окраине города, где снимала квартиру учительница.

Забегая вперед, скажу, что, к стыду своему, в тот день мы узнали, что у Кунекей на всем белом свете не было ни одной родной души, что она росла в детском доме и сейчас снимала угол в какой-то развалюхе. Я подумала о том, что, может быть, наша Кунекей оттого и заболела, что никто ее не встретил, не согрел, не напоил чаем под родной и теплой крышей.

Мы подошли к небольшому домику с низкой калиткой. Правду сказать, я еще ни разу не видела, как выглядят такие дома изнутри. Вот и выпал случай узнать. Азим нажал кнопку звонка, подведенного к калитке. Во двор вышла пожилая русская женщина, ее опередила какая-то невзрачная маленькая собачонка и, пронзительно лая, кинулась к калитке. Хозяйка дома, подходя ближе, спокойно взяла ее на руки и зажала под локтем.

— Перестань, Филька!— прикрикнула она на маленького неугомонного сторожа дома.

Мы разноголосо поздоровались с ней. Азим объяснил, что мы и по какому делу сюда пожаловали.

— Ой, беда-то какая! Ой-ой! Фаечка-то наша сильно застудилась и хворает. Как она болела! Металась вся, горела... Я так перепугалась! Но ничего, все, слава богу, обошлось вроде. Сейчас ей полегчало, отпустила, видно,

хворь. Легче ей, легче! — утешала старушка, и, все еще покачивая головой, проводила нас до невысокой двери, обитой мешковиной. Здесь она замешкалась и нерешительно постучала костяшками пальцев в филенку двери.

Фаечка, тут к тебе гости пришли! Да много-то их так! Все твои? Славные какие! Уж не восьмой ли «Б»?

Вот эта да! Выходит, что даже русская бабушка и та знает про наш класс? Прославились, надо же!

Приоткрыв дверь и заглянув внутрь, бабушка махнула нам рукой, разрешая войти.

При виде нас, робко столпившихся у самого порога, на бледном, осунувшемся и совершенно бескровном лице Кунекей, так сильно изменившемся за один день болезни, промелькнуло что-то, напоминающее улыбку. Губы ее дрогнули, искривились, а из глаз выкатились крупные горошины слез. Они, одна за другой, скатывались по щекам, но она их не замечала. Вдруг она поняла, что плачет, и закрыла на миг лицо ладонями. Убрав спустя секунду руки, Кунекей еще раз улыбнулась, и на лице ее выступил легкий румянец.

Мне вдруг показалось, что на влажных ресницах ее блестили не слезы, а прозрачные росинки. Влажные милые глаза так радостно засияли, что мы все повеселели. Казалось, даже солнце склонилось и заглянуло в низкие маленькие окна.

* * *

Прошло немного времени, и поправившаяся Кунекей вернулась в школу. Но в восьмом «Б» ее ожидало неожиданное и совсем не радостное событие. Накануне ее выхода на работу пропал Азим. В тот день он так и не пришел домой. Поздно ночью встревоженные родители бросились искать его, сообщили в милицию, позвонили директору школы, сообщили и Кунекей. Наутро вся школа уже знала об этом.

Не успев прийти в себя, Кунекей снова впала в прежнее бессильное и беззащитное состояние. Волнение ее достигло предела. Она то входила, то выходила из класса, не находя себе места от все возрастающей тревоги. Неизвестно, что бы стало с нашей Кунекей, если бы в тот день не пришла весть, что наш беглец Азим в день таинственного исчезновения попросту сел в междугородный автобус и отправился напрямик в Бериктас к своему дяде,

маминому брату. Это сообщение нам оставил сам директор школы.

— Ну, этот ваш Даулов! Что бы ни случилось в этом классе, во всем непременно замешан он. От этого Даулова всего можно ждать!— заключил он, посмотрев на Кунекей.

А она стояла и от души радовалась тому, что с Азимом ничего не случилось и что он благополучно отыскался. Было решено, что после уроков домой к Азиму пойдут трое: я, Нурат и Кунекей. Не знаю, о чем думала Кунекей, но сама я так и не поняла, в чем необходимость такого визита.

В условленное время мы с Нуратом встретились и пошли на автобусную остановку, где стали ждать прихода Кунекей.

— Я знаю, почему Азим сбежал, никому не сказав ни слова,— сказал мне таинственно Нурат.

— Почему же?— полюбопытствовала я.

— Ему совсем не хочется здесь учиться. Поэтому он и удрал в Бериктас.

— Что ты сказал?— удивилась я.

— То и сказал! Все бы тебе спрашивать! Смотри, вон и Кунекей идет.

«Странно!— подумала я.— Почему это он не хочет учиться с нами? Ведь в восьмом «Б» его фамилия всегда первой называется. И в комсомол он вступил одним из первых. И Кунекей все время о нем с похвалой отзывается. Все о нем, все для него, чего ему еще надо? Вообще-то, сам он непонятный мальчик. Или, может, он на своих домашних обиделся? О чем, интересно, думает сейчас Кунекей, направляясь к ним?»

Дверь нам открыл отец Азима.

— О-о-о! Проходите, пожалуйста! Проходите!— засуетился он.

Из-за его спины показалась мать Азима, подвязанная фартуком.

Из гостиной доносился неровный гул голосов.

— Да вот, близкие собрались, вместе радуемся тому, что сын наш нашелся. Вы вовремя пришли. Проходите, посидите с нами,— стали они дружно уговаривать нас.

Кунекей поблагодарила их и сказала, что остаться мы не можем. Потом спросила об Азиме.

— Этого озорника муж завтра собирается привезти назад. Мы поручили моему брату крепко за ним присма-

тривать, чтобы он еще что-нибудь не учудил и не скрылся еще куда-нибудь,— посмеиваясь, объяснила мать.

— Да-да,— закивал головой отец Азима.— Завтра же сам за ним поеду и привезу домой. Ничего не пойму, что с этим сорванцом приключилось! В голове не укладывается! Предположить, что в школе что-то произошло, так в это с трудом верится!— и папа Азима в недоумении развел руками.

Разговорную эстафету перехватила мать Азима, обращаясь к Кунекей:

— Он все время о вас говорит, ни на минуту не забывает. Все рассказывает о том, что было в классе, куда вы ходили, что видели, что сделали или собираетесь сделать. Все разговоры только об этом. Мы слышали и о том, что вы заболели. Вы, наверное, не поверите в то, как он за вас волновался. Никогда я раньше не замечала за ним такого, даже когда сама болела. И вообще он сильно изменился в последнее время, к лучшему, конечно. Ровней стал учиться. Нет, дорогая, у нас даже язык не повернется сказать, что в классе что-то с ним случилось. А дома у него, сами видите, тоже все в порядке. Мы его не ругаем и тем более не бьем, даже слова лишнего не скажем. Не умеем, признаться, наказывать.

— Но и не балуем особенно, несмотря на то что он у нас единственный,— не удержался папа.

Они продолжали еще о чем-то рассказывать, но вдруг спохватились:

— Что же это вы у порога стоите, в самой прихожей? Проходите в комнату! Проходите!— приглашали они нас.

— Да нет, спасибо! У нас еще есть дела!— совсем по-детски смутилась Кунекей.— Не беспокойтесь, пожалуйста! Нам пора идти! Мы...

— Ну что вы, разве так можно?! Это совсем никуда не годится!— по-настоящему расстроился отец Азима.

— Нет-нет, агай, спасибо,— еще раз поблагодарила Кунекей и сказала:— Видите ли, мы, собственно, пришли просить у вас прощения от имени всего класса за Азима.

— Ну что вы! Мы, конечно, простим, о чем разговор?! Безусловно, простим!— живо заговорил отец, толком ничего не поняв и не придав значения словам Кунекей.

— Понимаете, в том, что Азим так неожиданно уехал в Бериктас, есть моя прямая вина. Поэтому я прошу извинить и меня лично...— замялась Кунекей и отчего-то разволновалась.

Родители Азима в недоумении переглянулись. Они явно чего-то недопонимали. Кунекей объяснила:

— Дело в том, что Азим написал мне письмо,— сказала она.— Я его получила перед самым приходом к вам.

Все с тем же удивленным выражением на лице отец Азима машинально протянул руку.

— Не знаю, как мне быть...— смутилась Кунекей.— Он очень просил меня никому это письмо не показывать.

— Что это за письмо такое секретное? О чем там написано?— вмешалась мама Азима.

— Действительно, что это за таинственное послание, о котором даже родителям не положено знать?— поддержал ее муж и, заметив смущение Кунекей, взглянул на нас.— Если тебе мешают дети, то пусть подождут в той комнате или выйдут на минутку.

— Нет, агай, это письмо не является таким уж секретным, чтобы его нужно было скрывать от ребят,— покачала головой Кунекей.— Оказывается, Азим уже давно был обижен на меня за то, что я оставила безнаказанными некоторые его проступки. К тому же он самолично и сурово оценил свое поведение и составил целый список своих прегрешений, число которых превысило два десятка. В качестве собственного оправдания и снятия вины он даже решил, что будет честней и лучше продолжить учебу в другой школе.

— Что это за новости? Почему об этих безобразиях ничего не знаем мы, его родители?— снова удивился отец и тут же возмутился:— Вот ведь какой! Натворил черт знает что и скрылся! Убежал, выходит? Ну и ну! Да еще письма прощальные пишет. Совсем стыд потерял!

Тут его тихонько потянула за рукав жена и шепнула.

— Ну, успокойся же! Ничего страшного! Тс-с-с, гости услышат!

— Агай, вы за **это** не сердитесь на него!— попросила Кунекей.— Ваш Азим очень хороший мальчик... очень! Конечно, с характером, но разве это плохо? Бывает, что поверхностно о чем-нибудь думает, а так он умный парень. Не вините его. Я тоже его ни в чем не обвиняю. Просто сообщаю вам о той причине, которая заставила его уехать в Бериктас.

— Нет, моя дорогая, тут что-то не то! Если у него столько проступков, что он даже сам составил их список, то каким образом он может быть таким прекрасным?

Даже из дома в Бериктас убежал! Разве это хорошо? Как же он может быть чудесным человеком?

— Возьми себя в руки и прояви наконец выдержку, — призвала к спокойствию жена.

— Не следует думать, что все написанное Азимом, верно и соответствует действительности. Он с чисто юношеским максимализмом относится к реальному миру. В конце концов, его вполне можно понять, — убеждала и в то же время успокаивала их Кунекей. — Что касается письма, так это все же наше с ним дело, мы обязательно поговорим с ним об этом и постараемся понять друг друга, верно? А вас, агай и апай, я прошу об одном: с нашим разговором, а тем более о письме Азим не должен знать ни одного слова. Будет лучше, если все останется между нами. Эта просьба касается и вас, — повернулась к нам Кунекей.

Мы распрощались, нас проводили с таким же радушием, как и встретили. Однако мне показалось, что отец Азима был все же не полностью удовлетворен.

Таким образом, происшествие, так напугавшее всех сначала, в итоге закончилось вполне благополучно. И я была вполне согласна с Кунекей, чтобы нигде и ни с кем не обсуждалось письмо Азима. Может, главное было как раз не в содержании, не в фактах, а в сокровенном голосе письма, в его доверительной интонации. Такие тайны согревают, ведь они не во зло никому. Пусть и имя Кунекей солнечным бликом, светлым лучом согревает самые тайные уголки моей души, разделяя со мной все самое сокровенное. Я уверена, что Азим признался ей в том, что это он придумал ей такое прозвище. А оно ведь оказалось таким верным, таким солнечным! И я желаю каждому, чтобы ему повезло на встречу с солнечным человеком, со своей Кунекей, и чтобы он мог сохранить на всю жизнь это согревающее душу тепло.

СОЛНЦЕ В ОДУВАНЧИКАХ

— Вставай, Заманбек! Поднимайся!

Мягкая ладонь погладила меня по голове, по лицу. Это Куляш, длинноногая Куляш, — староста, наш классный командир. Откуда ты взялась, Куляш? Ты снова хочешь подружиться со мной? Почему же ты в тот день отвернулась от меня, да еще собиралась стукнуть своим тяжелым-претяжелым портфелем? Если так, то ищи себе друга где-нибудь еще. Я больше не стану с тобою вместе возвращаться из школы. Вот так. Сказал, не стану, — значит, не стану.

Послышалась какая-то торжественная музыка.

— Добрый день, товарищи радиослушатели! Сегодня воскресенье. Алма-атинское время — шесть часов утра.

Ой, что это стряслось с Куляш? Густым баритоном «Смирно»-агая она важно сообщает о завершении строительства Капчагайской электростанции. Может, она просто передразнивает агая? Вы ведь не знаете, какая это девчонка, наш класком. Однажды, уставясь на меня своими блестящими черными глазами, она встряхнула челкой и выпалила прямо в лицо: «Дурак ты!» Видно, она меня так обозвала потому, что я дернул ее за бант, что сидел у нее на макушке, как бабочка.

И сам не знаю почему, но я никогда не сержусь на Куляш, что бы она мне ни говорила, какие бы неприятные слова ни произносила. И как бы я, даже специально, ни старался рассердить себя — все равно дурные мысли об этой девчонке с косичками не посещали мою голову. Вот и на этот раз. Я... не смог рассердиться. Я... рассмеялся,

глядя ей в лицо. Так что, вы думаете, Куляш мне сказала? «Чему ты радуешься? Я ведь пока еще не назвала тебя умницей!»

— Встанет он наконец или нет?— Кто-то осторожно тронул меня за плечо.

Что это такое: «Встанет ли нет»? А куда же девалась Куляш? Я открыл глаза... Передо мной торчали толстые черные усы. Ой, да это же папа! Я был страшно расстроен превращением Куляш в папу, которого и так вижу ежедневно, стремительного и торопливого. Я повернулся на другой бок.

— Не заставляй повторять, Заманбек!

Чувствую, как, грузно ступая ногами, обутыми в пахнущие ваксой сапоги с отворотами, папа выходит из дому. Он и без того знает, что мне повторять не нужно, уверен, что я тут же вскочу, раз-два — оденусь и буду готов.

В ногах у меня лежит, свернувшись комочком и довольно мурлыкая, черная кошка. Хорошо ей! Не нужно ни задач по алгебре решать, ни правил немецкого языка зубрить. У нее одна забота — всласть поспать, а потом поймать несколько несчастных мышек... Я столкнул ее с постели, чтоб не мешала. Она встала на все четыре лапы, встопорщила усы, а ее зеленые глаза словно яд на меня изливали. Нечего на меня сердиться! Ступай да выражай свое недовольство моему отцу — ведь это он спозаранку разбудил меня, можно сказать, за ноги с постели стащил. А то разве стал бы я сбрасывать тебя на пол? Поди, поди, встопорщи на него усы — посмотрим, что из этого получится! У него и у самого усы — ой-ой-ой! Почище твоих!

Я начал одеваться. Неохотно и медленно — еще в полудреме. Сегодня весь день, под палящими лучами солнца, я буду ставить копны. А ведь что сказала очкастая врачиха, которая приезжала к нам из района? Да, да, что она сказала? «Во время летних каникул хорошенько отоспись, отдохни как следует. Для здоровья очень полезны рыбная ловля и купание в реке». Ловить рыбу, купаться... Мы и сами любим купаться. Да когда вдруг вздрогнет на крючке, затрепещет золотобокый сазан — это ведь наслаждение для души, сердцу отрада. Этой тете и не стоило внушать нам все это — лучше бы она вызвала моего отца в школу да прочитала лекцию о пользе купания и прочем. Сначала бы она, конечно, сняла очки, хорошенько их протерла, а потом уж строго глянула на папу, смущенно покашливающего в кулак. Взглянула бы через свои оку-

ляры, да и сказала: «Товарищ отец Заманбека! Нечего покашливать. Лучше выслушайте меня внимательно. Вашему сыну нельзя снопы вязать да копны ставить — у него позвоночник слабый. Ему куда полезнее весь день напролет барахтаться в воде. Ну хотя бы в той, что собралась в котловане, вырытом экскаватором на окраине аула». И папа вынужден был бы выслушать ее и в знак согласия кивать головой. И как ему не кивать, если все, что говорится на родительских собраниях в школе, — всегда для него неоспоримая истина, закон. Эх, вот было бы здорово, если бы так случилось, а?

Я наспех похлебал вчерашний суп, в котором плавали тонкие, с листик толщиной, кусочки мяса.

Мама пришивала к брюкам оторванные в очередной драке пуговицы.

— Остерегайся змей, мой жеребенок. Да смотри, чтобы солнце голову не напекло. В подпруге не запутайся.

Тю-тю! Она до сих пор меня ребенком считает, что ли? Ну и мама! Да вон Лермонтов не то что в тринадцать лет сено косить, а в свои пятнадцать поэму мог написать! И написал! Но маме и дела до этого нет. Не только о Лермонтове, она даже о наших классиках едва ли слышала — о Беимбете, о Сакене, например.

Я перебрал в голове все эти мамины советы, предостережения и усмехнулся. Можно подумать, что люди едут в степь лишь для того, чтобы их там гадюка ужалила или хватил солнечный удар. Да ведь я и сам не прочь гулять, бегать, прыгать — живым и здоровым. Другое дело — если уж она так боится за меня, то пусть запретит ездить на сенокос. Тогда я стану гонять в футбол, играть в бабки. Если мама и в самом деле жалеет меня, пусть запретит отцу брать меня в степь. Нет, не может она этого сделать! Не она ли только вчера говорила мне: «Отцу надо помочь. Одному ему не управиться с сеном. Он и так устает на работе. Целыми днями торчит в этом магазине: «Покажи то, принеси это!» И всё на ногах. Легко ли?» Ну, тогда нечего и хныкать, поучать меня. Досада берет!

— Ну, пошли! — Не глядя на меня, папа снял с гвоздя на стене длинную плетль, пропитанную запахом солидола.

Папа у меня неразговорчивый. Даже в тот день, когда в пионерской газете опубликовали мое стихотворение «Моя школа», он сначала молча уставился мне в лицо, а потом сказал лишь три слова: «Вот ведь шель-

мец!» И даже по голове не погладил, как мама. Неласковый он, суровый.

Я надел бешмет и поплелся за отцом.

— Постой-ка, Заман!— Это окликнула меня мама. В руках у нее красный платок.— Ну-ка, повяжись этим Жара. Из носу кровь пойдет. Он совсем новый — я его лишь раз на праздник повязывала.

Я отчаянно замотал головой. Такой красный, кумачовый платок не наденет не то что здоровенный парень, а даже девчонка. Да ребята увидят, со смеху помрут.. Окас... Куляш... Вспомнив об этой длинноногой девчонке, я тут же сорвал платок с головы.

— Эй! Раз говорят — повяжи, значит, повяжи. Хватит спорить.

Плетка, зажатая в кулаке отца, вздрагивала и извивалась, словно змея. Хотя я знал, что отец не поднимет на меня руку, все равно покорился — повязался этим проклятым платком.

«Говорят — повяжи, значит...» А если бы его самого заставили напялить на голову мамину большую пуховую шаль, что бы он тогда сказал?

Я краешком глаза взглянул в зеркало в углу комнаты. Смех, да и только! Из зеркала на меня глядел веснушчатый смуглый парень, на чьей голове красовался женский платок. Да и мальчишка ли это — может, девчонка?.. Не поймешь... Вообще, некто с плачущим выражением лица. Не соображая, куда ставлю ноги, я, шатаюсь и спотыкаясь, вышел из дома...

* * *

Только я открыл дверь, как меня прямо-таки ослепило яркое-преяркое солнце. И тут же испарились и моя недавняя обида, и досада, и раздражение.

Круглое и желтое, как спелая дыня, светило катилось навстречу, поднимаясь над приземистым домишком старика Кокая. Аул, еще погруженный в утренний сон, спокоен и тих. Даже собаки молчат, и наш Майлысаяк, свернувшись под забором, изображает собой большую букву «О». Тишину нарушает лишь красный петух, который, энергично хлопая крыльями, отдает курам короткие и конкретные приказания: «Ко-кок, ко-кок!»

Скалы Музтау приобрели сейчас какую-то удивительную, причудливую форму. Словно огромный ковер набросили на них.

Как прекрасен этот покой!

Не нарушает его и привычное тарыхтеье трактора «Беларусь», которым управляет Керим. И все потому, что сегодня выходной и никто не спешит на работу. Я даже обрадовался. Значит, никто не увидит кумачового платка у меня на голове.

— Ах, чтоб тебя...— слышался крик Жанипы, нашей соседки.

Я сразу ее узнал. Голоса других женщин, да и брань их — другого сорта. А у этой тетки слова крупные, тяжелые, что камни, которыми швыряется ее сынок Окас. Ясно, что и эта семья собирается на сенокос. Жанипа-апа¹ очень любит покричать. На этот раз она «угощала» самого Окаса. Я представил себе этого тонкогубого мальчишку, и у меня сжалось сердце: теперь весть о Заманбеке в красном платке обязательно облетит весь аул, обрастет подробностями, разукрасится деталями. О-о, как я ненавидел этого противного мальчишку!

Смуглый Окас — худой и тощий, но проворный, ловкий парень. И мастер насмехаться над людьми. И драться с ним опасно — у него много своих приемов. Он и лягается, и царапается, и кусается, и за волосы хватается, и камнем стукнуть может,— короче, он и по-мальчишески, и по-девушачьи драться мастак...

— А ты не стой попусту. Поди-ка позови дядю Кокая,— сказал мне отец.

Я со всех ног бросился к дому других соседей. И скоро уже мои пальцы забарабанили в рамку окна. «То-то-токк...»

Из-за занавески выглянула Катима-апай и тут же скрылась.

— Вставай, старик! Мальчик уже пришел...

— Да неужто?— слышался плаксивый голос Кокая.

Звякнула щеколда. Я повернулся к двери. Сначала на пороге появился черный ботинок с загнутым носком. А вслед выкатился и сам Кокай. Прищурился и заморгал от яркого солнца.

— Ойбай! Да ты чей сынок-то?— сначала он будто бы не узнал меня.— А-а, так ты из дома Сауытбека! На сенокос собрались, что ли?

Я кивнул. Старик явно хитрил. Словно ничего и не знает... Забыл, что ли, как вчера вечером он угощался у нас? Мама расстелила дастархан во дворе под навесом.

¹ А п а, а п а й — сестра, тетя; уважительное обращение к старшим.

Выставила большую чашу, полную мяса. Кокаю подкладывали самые лакомые куски. И он обещал с утра засучив рукава отправиться косить с нами сено!..

— Да рано еще,— протянул он и тут же, прикрыв ладонью рот, перешел на шепот.— Сауытбек... то есть твой отец прихватил кое-что, а?

Я снова кивнул. Он осклабился.

— А-а, тогда ладно... Хорошо... Я вот сейчас... Мы всегда готовы на всякую помощь-помощь. Вот каков ваш Кокай... Так-то...— Старик умолк.— Ах, ах!— вдруг снова заговорил он.— Уж не заволакивается ли небо в такую жаркую пору? Не-ет! День сегодня что надо! Ну прямо масло, сливочное масло. Да будут благословенными мои слова — по-моему, сегодня трава сама будет валиться под косой...

Отец успел уже запрячь лошадей в арбы и вывести их со двора. Сам он сидел на той арбе, что тащила гнедая кобыла. Мы же с Кокаем забрались в ту, в которую был запряжен вороной. Выехали на большак и отправились на луг — к западу от деревни, от солнца, которое катилось вслед за нами...

* * *

Я удивляюсь тому, каким степенным стал Кокай в присутствии моего отца. И не болтает, как обычно, а говорит солидно. Сдается мне, что старик немного побаивается своего соседа.

Раз я нечаянно услышал, как он говорил. мол, стоит Сауытбеку лишь мимо пройти, так меня словно ледяной водой окатывает... Может, оттого, что отец не любит болтунов, слишком суетливых людей. Однако ясно и то, что старик уважает отца. Однажды я в сердцах пожаловался Кокаю на суровость отца. Он покачал головой и сказал «Не-ет, Заманжан. Сауытбек любит тебя. Он просто сдержанный очень. Уважай его — таких людей не часто встретишь...» Вот и сейчас Кокай сидит молча, согнувшись, знай себе дымит, папиросой попыхивает. И кажется, что дым, ложась на его плечи, закутывает их серым платком. Но в этот платок не завернешься, не ухватишь его руками. Дым лишь щекочет ноздри да заставляет кашлять..

Подкованные копыта вороного тонут в густой уличной пыли, из-под них летят в разные стороны желтые кольца да браслеты. Вот остался позади и забор сварливой

Жанипы. Ох уж эта Жанипа! Любую за пояс заткнет. Даже, пожалуй, знаменитую тетью Полли Тома Сойера. Стоит ей только, поднатужившись, рывкнуть на всю улицу, как конный с лошади свалится, а собаки, даже самые свирепые, трусливо подожмут хвосты и уберутся от греха подальше...

В прошлом году я, собираясь спугнуть рогаткой воробья, разбил вдребезги соседский горшок — он был перевернут вверх дном возле их загона. Так эта самая тетя тут же схватила кочергу, которая ей попала под руку, но я-то ловкий, сумел увернуться. С тех пор я с особым почтением гляжу на все, что в руках Жанипы.

Да и собственному-то ее сынку тоже не очень везет. Сухощавый, долговязый и не просто смугляк — Окас черный, что деготь. Этот парень погал в наш класс второгодником — он чем-то проболел целых два года. Окас очень драчливый, чуть что — лезет в драку. Может отлупить как следует! Есть ли причина, нет ли — все равно. Окас особенно зол на меня. Да ему и есть за что злиться. Видно, шайтан меня толкнул — я сочинил про Окаса стихи. И с того дня как появились на свет эти строчки, сколько же тумачов досталось моей голове — ой-ой! Не сосчитать! Да ведь и я бедовый. И я по возможности стараюсь не спускать Окасу. В меру своих способностей я всякие стихи о нем сочиняю...

И вот сейчас этот самый Окас тоже едет на сенокос — вижу, кладет вилы в свою арбу. Опасаясь, как бы он не заметил моего позора — красного платка на голове, прячусь за спину Кокая. Однако его узкие плечи не могут меня заслонить.

— Заманбек — девчонка, девчонка!.. — слышу я.

Я издали показываю Окасу кулак. Сидя в арбе, конечно, можно не бояться и угрожать.

— Да чтоб тебе перекувырнуться! Какое тебе дело до чужого сына! Ты свое дело знай!

Ай да Жанипа-апа! Умница! Вы совершенно правы! Действительно, Окас всегда не в свое дело суется. Только вот жаль, что он и в самом деле не кувырнулся на землю, как вы того пожелали!

Вопли голосистой тетки внезапно обрываются. Что такое? Оказывается, Кокай, проявив небывалую прыть, что есть сил погнал вороного вперед, безжалостно нахлестывая плеткой ни в чем не повинную скотину. Видно, и ему надоела эта крикливая женщина!

Большак, что начинается в нашем ауле, извиваясь, вливается в огромный луг — Жасан. О том, что земля под арбой из ровной и мягкой превратилась в твердую и ухабистую, я догадался по тому, как беспорядочно при-
нялись грохотать и тарыхтеть колеса.

Луг — широкий, большой, кажется, сколько ни скачи, конца ему не будет. И не известно, почему эта местность никак не обозначена на географической карте. Да и на глобусе, сколько я его ни крутил, ни вертел, не смог найти даже точки под названием Жасан. А ведь учительница по географии Роза-алай говорила нам, что любая большая территория должна быть указана на карте.

Преимущество Жасана перед окрестностями нашего аула прежде всего в том, что здесь тебе в голую пятку не вопьется какая-нибудь колючка, можешь не бояться. Здесь не растут ни липучки, ни незабудки, ни чий¹. Но зато много тростника. Сплошные заросли. И стоит подуть ветерку, как блеклые сухие стебли начинают раскачиваться в разные стороны, словно торопливо кланяются кому-то. И еще тут множество всяких цветов. Желтые красные, белые, синие... Девчонки набирают их полные подолы. Ребятам же больше по душе одуванчики. Невзрачное, хрупкое растение — наступишь на него, и оно ломается с легким треском. А когда одуванчики отцветают, то кажется, что на всем лугу сплошь одни белые головки-шарики. Дунь на них и гони-погоняй по ветру. И пушинки кружатся, вертятся волчком. Порой даже перестаешь их видеть в ярком сиянии солнца.

На лугу можно играть, бегать, гулять сколько вздумается — никто не остановит тебя, никто не накричит. Далеко отсюда аул.

Прячась в густых зарослях, играем в партизан. Надоест — так есть еще футбол, прятки... Или ловим пасущихся здесь телят. Хоть они в общем-то кроткие и тихие существа, но все равно брыкаются, стараясь вырваться и убежать.

Удрав от нас, они наслаждаются отборной травой Жасана и пьют воду Карасу — сладкую, что мед. Тогда-то и можно их за хвост ухватить. Теленок, жалобно мыча, начинает кружиться вокруг тебя. А когда наконец устанет

¹ Чий — высокая жесткая степная трава.

улучи момент и взбирайся на него. Оседлай и смело скачи в сторону аула...

А там, в самом начале улицы, запрудив ее, тебя восторженно встречают ребяташки — всякая мелкота, мушки-букашки, как говорится. Рты их разинуты от удивления, глаза выпучены. И это ли не создает тебе авторитет?

...Скоро мы выехали к реке Карасу. На этом ее берегу растет самая густая, чистая трава. Она мягким нежным войлэком покрывает луг. Наша арба словно проплывает по самой середине этих зарослей. И головки белены с мелкими желтыми цветами перевешиваются через края арбы, хлещут кобылу по бокам, с хрустом приминаются. Прилипшие к стеблям и листочкам мушки, бабочки и оводы суетливо разлетаются по сторонам и, трепеща крыльями, парят в знойном воздухе и остаются висеть в нем...

Здесь прямо настоящие джунгли! А не произошло ли слово «джунгли» от казахского «жынгыл» — «густой»? В одной книге я вычитал, что многим, даже далеким землям и местам мы дали названия. Так, может, и джунгли назвали джунглями наши дальние предки, которые были гораздо старше моего отца, с более густыми усами и с белыми бородами?

Арба остановилась. Наша прошлогодная стоянка заросла иссиня-зеленой травой. Лишь белеет в ней сломанная подкова. Тогда, помню, гнедая кобыла внезапно и рывком дернулась, подкова-то и сломалась. Вот резко выделяется пятно, оставшееся на том месте, где был очаг, на котором мама кипятила чай. Я дотронулся до пятна ладонью. Напрасно. Не сохранился жар прошлогодних углей... Смешно было думать...

— Эй, вместо того чтобы землю гладить, лучше стреножь лошадей!

Плохо, что папа сердится. Хоть бы здесь, на Жасане, разок рассмеялся, повеселел. Даже по имени меня не зовет, а все «эй» да «эй» без конца. Но ведь я вовсе не «эй», а Заманбек...

Нерешительным и неуверенным шагом я подошел к нему и взял у него из рук ременные путы.

— Гнедую крепче стреножь. Да пошевеливайся! Слово не живой! — снова раздражается отец.

Не остался в стороне и Кокай:

— Правильно, дорогой. Нужно как следует привязать эту бедовую кобылку. Чего доброго, она и в аул может

удрать... Эта лошадка из беспокойного племени, даз ней еще жив весенний червь, как говорится Вся она трепшет чуть коснутся ее груди теплые ветры... Стреножь ее дорогой... А ты, оказывается, умница..

Я и без него знал, что не дурак. И почему этот Кохай лишь повторяет сказанное кем-то другим и выби рает из всех слов самые нестоящие, мелкие, незначи тельные? И речь его смахивает на ответ Окаса, не при готовившего урока. Правда, в теченис двух лет никто в классе ни разу не слышал от этого лентяя, что он не при готовил урока. Окас всегда тянет руку — чуть в глаза не сует учителю, — сам к доске напрашивается. Выходит и смело начинает отвечать. Например, о континентальном климате. «Зима при таком климате холодная, сурвая. Виски покрываются белым инеем, и лкди захлебываются паром, выходящим из их ртов. Глаза теряют свою окраску, тускнеют». Уставясь в подернутые белым инеем окна, он знай себе поет свою песню... И удивительно, Роза-апай усмехнувшись, неизменно ставит ему тройку. И Окас всегда остается Окасом из-за своего упрямства. Если он даже и знает урок, все равно так перевернет, так переврет написанное в книге, что всех насмешит. В общем, Окас очень выделяется среди ребят своей живостью... Но ведь Кокай — взрослый человек. Ему подобает быть более серьезным. А он тоже, повторяя слова моего отца, переви рает их, переиначивает. Ведь сам отец все, что Кокай говорил в течение пяти минут, уместил в пять слов — коротких, но веских... И все равно по сравнению с па- пиными нужными, но скучными словами шутики Кокая всегда легки и приятны.

Спутав ноги лошадям, я возвращаюсь обратно Жа нипа-апай бросила свою арбу прямо посреди дфогги Я еще издали увидел, как она машет косой. И Окас по- ставила рядом с собой. Но Окас только на словах хо- рош — мастер, как говорится, жарить жаркое в кипящем масле. А в работе он ленив, неповоротлив и неловок Вот ударил косой по какой-то коряге. То и дело утирает с лба обильный пот.

Мне даже жалко его стало. Ведь он, в конце-то концов не такой уж плохой парень, чтоб его ненавидеть. Если бы только не его привычка быстро вспыхивать и обихать ся. Вспыльчив он больно...

— Добрый день, апай, — вежливо говорю я соседке Пусть у вас будет много сена!

— Ойбай!— вскрикивает она от неожиданности.— Напугал... Спасибо, спасибо, Заманбек... Надумали вот и мы сеном запастись. Косим кое-как... Что поделаешь, в доме, где нет мужчины...— Жанипа-апай горестно вздыхает.

Мне жаль ее. Ведь все знают, каким хорошим человеком был ее муж, отец Окаса. Умер Мухит-агай от какой-то тяжелой болезни. Сыну его, Окасу, исполнилось тогда всего три года, а мне и того меньше. Не помню я его живого, только фотографию на стене видел — красивый, жизнерадостный.

Я поворачиваюсь к Окасу.

— Эй, да ты не дергай так косу.

Он морщится. И не долго думая:

— Заманбек... Нет, Замзегуль...¹ Сено косить — не девчоночье дело. Их обязанность — повязав на голову красный платок, тянуть в поводу лошадей мужчин...— скороговоркой проговорил он.

— Сам-то ты, Окас,— деготь... Даже косу держать не умеешь!— с досадой махнул я рукой

Окас в долгу не остался, тут же пропел частушку про мой щербатый рот. И так дернул косой, что косовище не выдержало и переломилось, Окас свалился на землю вместе со своей несчастной косой. Я схватился за живот и принялся хохотать, словно безумный. Прямо-таки закашлялся от смеха, захлебнулся. Я упал в траву и продолжал хохотать, задрав ноги. Давно я жаждал отомстить Окасу, посмеяться над ним.

Жанипа-апа подняла на сына разгневанное лицо и, словно острие копья, вонзила в него свои слова:

— Ах ты каракурт! Ну что расселся?! Ведь испортил косу!

Окас был полон злости. Он отбежал подальше и, перекрывая вопли матери, заорал:

— Эй, Замзегуль! Восьмого марта я тебе поздравление пришло! Жди, щербатый!

Тут уж надо бы дать ему как следует — ведь это он сам выбил мне здоровый передний зуб тяжелым свинцовым битком. Сам же меня и щербатым прозвал, «кекшебай» по-казахски. А Замзегуль я стал ни за что ни про что. Сколько же мне терпеть этого Окаса? Но куда необходима выдержка — мне сначала нужно стать сильнее

¹ З а м з е г у л ь — женское имя.

его. Ну, ладно. Я не я буду, если не поступлю в этом году в школьный кружок по боксу. Вот уж тогда и я всыплю ему так, что кровазые мушки у него в глазах заплещут. И я ему не стану мстить при помощи свинцового битка. Я нанесу ему сокрушительный удар вполне законным путем. Победив в бою очередного мальчишку, я вежливо и учтиво приглашу Окаса помериться силой. Разве я, боксер, стану опасаться его детчоночьих ухзаток в драке? Окас же, несомненно, выйдет и примется размахивать кулачищами. И мне будут ясны его мысли: «Сейчас я расквашу лицо и выбью все оставшиеся зубы у этого щербатого!» Посмотрим, сможет ли он расквасить мне лицо! Я отклонюсь в сторону и двину его в челюсть снизу вверх — по всем правилам бокса. Однако Окас — парень настойчивый. С плачем и стоном он все равно бросится в атаку. Но тут я сделаю обманное движение и... развлекаясь, нокаутирую его... Дело сделано — Окас валится, словно бурдюк... обнимает черную землю. А я подпрыгиваю, подскакиваю, двигаю руками — в общем, демонстрирую всякие боксерские приемы. Все в изумлении глазеют на меня. Куляш хлопает в ладони и звонко смеется. Ведь Окас и над ней смеялся, и ее вышучивал... Итак, гобит тот, кого следовало побить... А кто еще, кроме Куляш, увидит мою победу? Думаю, это произойдет посреди улицы, в самый полдень... И это увидят, например, отец, «Смирно»-агай... Сердце у меня сладко замирает...

Я медленно иду на нашу стоянку. Рву одуванчики и сдуваю с них пушистые шапочки. Пушинки бабочками кружатся в воздухе. Кружатся, как... как Куляш в танце «Жайдарман». И почему это, скажите, я то и дело вспоминаю эту девчонку — нашего класкома? Пытаюсь представить ее длинные ноги, бесстрашно и смело глядящие черные глаза, ее пышные волосы? Куляш похожа на Бекки или Бекки напоминает мне Куляш?

* * *

Все началось с книги Марка Твена «Приключения Тома Сойера». Этот Том влюблен в соседскую девчонку по имени Бекки. Тому, как и мне, тринадцать лет — значит, мы с ним ровесники. Я так же, как он, хорошо плаваю и кошек не хуже его за хвосты таскаю... Чтобы быть похожим на Тома, мне надо влюбиться. Девчонок в классе сколько угодно, но ведь нужно влюбиться в од-

ну-единственную. Тогда мы станем равны с моим сверстником Томом. Правда, у меня уже есть некоторое преимущество над Томом — я поэт, мое стихотворение напечатано в газете. Прочитав это стихотворение, старший брат, приезжавший к нам в гости, сказал:

— Акыном¹ ты уже стал. Остается лишь «догнать девушку»...

Это значит, что пора мне влюбиться. Я уже знаю, что если девчонка нравится, то в течение урока ты то и дело бросаешь на нее многозначительные взгляды... И пришлось мне присматриваться к девчонкам из своего класса, попробовать влюбиться в одну из них. Я принялся выбирать. У Батес — лицо плоское, что медный пятак, красное притом, ноги напоминают букву «О», кривые и тонкие. Да она еще и злюка. Асия — красивая, стройная, молчаливая. Но если случается во что-нибудь играть, она ни с того ни с сего — р-раз! — и оцарапает тебя! Впивается прямо в лицо. И кому может понравиться такая бешеная девчонка? А Куляш... Ее стриженная челка красиво падает на лоб. С того дня как были опубликованы мои стихи, Куляш и сама с улыбкой то и дело поглядывает на меня. Вот и нужно влюбиться в нее — нечего больше искать. И староста (на к тому же, и соседка. Ведь и Бекки жила поблизости от Тома... «Эта девочка симпатичная, воспитанная, всегда здороваается», — так и мама моя говорит о ней.

Ну, хорошо. Тем что я выбрал, в кого влюбиться, дело не кончилось. Я начал искать пути и способы, как дать понять Куляш, что она мне нравится. Может, написать ей письмо и отдать его прямо из рук в руки? Ведь наши парты в классе рядом. А вдруг мальчишки увидят да вырвут у нее из рук мое послание? Да прочтут, тогда что? Не знаю, как от других, но от Окаса этого можно ожидать. Или случится так: прочтет Куляш мое письмо, сложит его аккуратненько вчетверо и всунет в учебник по географии. Потом, положим, эту книжку попросит у нее Батес, чтобы подгостовиться к уроку. Заглянет туда... Бр-рр... «Заманбек старосте письмо написал! Письмо! Вот это да!» — обязательно завершит она. Позор! А что, если мне помалкивать о своей любви! Ведь тринадцатилетним не обязательно быть влюбленными. Но тогда выходит, что сверстник мой Том обгоняет меня? Ну, ладно, если даже

¹ Акын — поэт.

в свои тринадцать лет я и не напишу письмо, твердо знаю, что потом я все равно должен влюбиться в Куляш.

А что, если мне сделать так... Напишу-ка я вместо буквы «З» — «А», вместо «А» — «З». То есть «За» превратится в «Аз» и дальше таким же путем: «Ма» в «Ам», «Нб» в «Бн». И тогда «Заманбек» превратится в «Азамбнке». Труднопроизносимо, зато непонятно! Пусть знатоки поломают себе голову. Пусть даже учителю покажут. И как бы они ни поворачивали, «Азамбнке» и будет «Азамбнке». Даже если на солнце поглядеть. И все остальные слова таким же образом написать. Так мы всех и обманем, да еще и новый алфавит изобретем. Не алфавит, конечно, а его новое применение. Разве такая блестящая идея могла прийти в голову Тому Сойеру?

В тот же день я взял листок бумаги и нарисовал на нем сбоку голубя с розой в клюве. Нарисовал и под голубем вывел прописью: «Куляш, ты мне нравишься!» Красиво так написал, образцово... Правда, голубь мой немного на ворону смахивал... Ну, да ладно, ничего. Увидев загадочную строку, не станет же девчонка без конца глядеть на голубя-ворону...

Назавтра последним уроком, как обычно, была география. Урок Розы-апай. Поглядываю исподтишка на Куляш. Незаметно так. И вижу — веселая она, довольная. Ну, кажется, настало время, наступил подходящий момент передать ей письмо с голубем. Глубоко вздохнув, я протянул руку и... задел локтем чернильницу. Она шлепнулась на пол. Если бы только шлепнулась, а ведь подпрыгнула, да так весело и бодро... Чернила обрызгали белый-пребелый передник девчонки и мгновенно окрасили его в синий цвет. Стало тихо-тихо. Куляш поглядела на свой передник, весь в чернильных пятнах, и мне показалось, что эти пятна тут же перешли на ее лицо.

И она, не дав опомниться, схватила «Географию» в двести шестьдесят пять страниц и трахнула меня по голове. Я чуть было с ног не свалился.

Класс бушевал. Глотая слезы, я.. протянул Куляш письмо

— Что это? — вздрогнула она.

— Письмо...

Какое еще письмо?

Я молчу. А что сказать-то? Она вырвала из моих рук бумажку и, развернув, принялась ее разглядывать. Ребя-

та, словно флюгера, все разом повернулись к нам и, вытянув шеи, сверлили нас глазами.

— Ворона какая-то... А зачем она розу кусает?

Куляш с отвращением отбросила бумажку. При этом на лбу у нее подпрыгнула ее удивительно красивая челка.

— Это не ворона...

— Кто же тогда?

— Не ворона, и все...

Она звонко рассмеялась.

— Не ворона, а голубь, голубь...— повторял я, как испорченная пластинка.

Лицо у меня пылало. Я, видно, был таким же румяным, как сама Куляш.

— А что тут написано?

— Написано то, что написано.

— Что это? «Укляш...»— она пожала плечами.— Как это понимать? Или это на каком-то другом языке? Иностранном?

— Там... написано: «Куляш, ты мне нравишься...»

Она и без того большеглазая, а тут так раскрыла глаза, что они стали с мою ладонь... Да куда там с ладонь, больше!..

— Кто это написал?— Куляш даже, кажется, закричала.

Я промолчал и тут же спрятался под парту. Куляш же, позабыв о своем авторитете, громко заплакала.

— Ого! Кекшебай — джигит не промах!— присвистнул Окас.

Плосколицая Батес ликовала. Хлопая в ладоши, она даже приплясывала возле доски.

Лежа под партой, я вижу ее кривые ноги.

— Кекшебай влюблен в Куляш! Я скажу об этом апай, скажу! Ох, ох!

«Ну и говори, мартышка кривоногая! У тебя есть язык, так ведь и у меня тоже. И я кое-что видел, тоже знаю. Прошлым летом, держась за руки, вы с Окасом собирали одуванчики! А ведь в «Школьных правилах» ничего не сказано о том, что во внеклассное время мальчику и девочке необходимо держаться за руки! Так-то!..»

Мои рассуждения прервали частые удары, которые сыпались на меня. И бедному «Азамбике» лишь оставалось пониже пригнуть голову и в три погибели скорчиться под партой.

Я услышал стук каблучков. Ребята шумно поднялись с

мест. В класс вошла Роза-апай. Делать нечего. Пыхтя, я вылез из-под парты.

Проверив по списку ребят, учительница собиралась уже начать опрос, как подняла руку Батес. Троечница Батес сама тянет руку! По-моему, Роза-атай немало удивилась.

— Ну-ну, Батесжан, расскажи-ка нам про Мексику. Не забудь остановиться на природе этой страны, на ее климате...

Батес нагнула голову. Лицо у нее покраснелось, глаза блестят.

— Апай, я...— Батес провела пальцем по поверхности парты.

— Во-первых, перестань чертить пальцем по парте — это к Мексике не имеет никакого отношения. Во-вторых, стой прямо, не сутулься и говори, что хочешь сказать...

— Я... Куляш Кекшебая... Нет... Хочу сказать, что Кекшебаю нравится Куляш...— одним духом выпалила Батес и плюхнулась обратно.

— Разве среди нас есть ученик по имени Кекшебай? А, ребята?

Я нехотя встал. Ребята захихикали, а кто-то прямо-таки заржал. Роза-апай даже не улыбнулась. Она поднялась со стула и сказала:

— Ребята, вы должны называть друг друга тем именем, которое дали вам родители. И нехорошо смеяться над Заманбеком, у которого нет переднего зуба.— При этих словах я победоносно поглядел на тех, которые только что ржали по-жеребьячи, хоть они и были без грив и хвостов.— И что особенного в том, если Заманбеку нравится Куляш или Куляш нравится Заманбек?— Тут уж Куляш, кажется, неодобрительно взглянула на меня.— Они учатся в одной школе,— продолжала учительница,— в одном классе, и парты их рядом. И нет ничего плохого и зазорного в том, что они дружат... Я считаю, что те, которые осуждают такую дружбу и сплетничают, сами не умеют и не могут быть хорошими товарищами...

Проговорила все это Роза-апай и как ни в чем не бывало продолжила урок. Батес была нокаутирована.

Ой, если бы мне разрешили, я бы тут же подбежал к Розе-апай и расцеловал ее. В обе щеки!

Значит, написав письмо, я поступил правильно! И пусть теперь эта губошлепка Батес хоть тысячу раз оправды-

вается — она посрамлена вконец. Какое счастье, что я выbral Куляш, а не ее!..

Возвращаясь из школы, я едва догнал быстроногую Куляш.

Она не обернулась, наоборот, ускорила шаги.

— Куляш, ведь мы и вправду друзья, а?— Расхраб-рившись, я даже взял ее за руку. Она резко вырвала у меня руку и дала... пощечину! Самую настоящую! Как в кино...

— И не смей мне больше писать писем... с воронами, слышишь?

Я взглянул ей в лицо. На нем было то же выражение, что и в классе, когда она лупила меня «Географией»

Я невольно отпрянул от строптивой девчонки.

— Разве апай не позволила нам быть товарищами? Ведь и Том Сойер с Бекки...

Оказалось, на беду, что и она читала эту книгу.

— И Тома Сойера твоего, и твоей Бекки не было на свете, все это выдумки, понял? Дружи с какой-нибудь другой девчонкой, которую подберет тебе апай, а от меня отстань! А то...— Класком, тряхнув челкой, пошла прочь от меня.

Тут я здорово обозлился на американского выдумщика. Оказывается, и в книжках пишут неправду. И почему же тогда наши учителя не разъясняют нам этого, не предупреждают, что в книгах все обман? Разве стал бы я тогда писать Куляш письмо? Конечно нет! И мы не поссорились бы с ней...

Собрав всю решимость, я все-таки догнал Куляш, но она тут же подняла свой портфель с латунными уголками и таким же замочком.

— Я ведь уже сказала тебе — не подходи!

«Не подходи!» — так и не подойду. К тому же портфель куда тяжелей учебника географии!

Вот ведь какая Куляш гордая, своенравная. Ее дружить с собой не заставишь только потому, что учительница разрешила. Это не довод. Она ведь не обращает внимания даже на то, что сказано на страницах «Приключений Тома Сойера». Ей все нипочем.

Я не мог простить Куляш того, что она не слушается Розы-апай и не верит Марку Твену. И я решил ей на-солить. Тайком пробрался к ним поздно вечером на бахчу и распорол ножом спелые арбузы. Это первое. Потом я подкрался к их окошку, вытащил из кармана большую

картофелину, обмотал ее ниткой-сороковкой и повесил к гвоздю, что торчал на оконном косяке. Другой конец нитки у меня в руке. Я обратно перемахиваю через забор и ложусь в сухой арык напротив их дома. Дергаю за нитку — картофелина стукнула по стеклу. Еще раз и еще... То-то Куляш напугается! Ведь в доме они только вдвоем с матерью. Ее отец — толстый кладовщик — уехал в район. В окне зажегся свет. Во двор вышла Куляш!

— Кто там? — крикнула она.

Молчание. Тогда Куляш смело подходит к окну и сразу замечает картофелину. Сорвала ее и с силой метнула поверх забора. И картофелина чуть было не угодила прямо в меня — упала совсем рядом.

Я выпустил нитку из рук и боком выбрался из арыка. Ай да Заманбек! Отомстил, называется! Так мне и надо!

И все равно мне хочется дружить с Куляш. Ведь и Роза-апай тоже посоветовала. А кто этому мешает, кто препятствует? Да все она же, озорная, непослушная девчонка, которой никакого дела нет до мнения других...

Да-а! Сейчас-то она небось спит крепким сном на своей перине. В таком случае вроде бы и не плохо быть девчонкой. Не нужно вставать спозаранку, не надо косить. Да и можно не опасаться мальчишечьих тумачков, если она даже и письмо напишет. Какой дурень станет бить за это девчонку? Не хочет дружить, так и не дружит.

Вот и все...

Пока я так размышлял, папа с Кокаем успели уже накосить уйму травы. Они разделись до пояса. Папа обмотал голову рубашкой. Кокай же повязал платком. Ловко и размеренно взмахивают они косами. Папа мой удивительно сильный — косит не хуже машины. Только та тарахтит, оглушает. Папины взмахи скупые, спокойные. Мускулы его так и играют под кожей, словно кошка резвится под одеялом. Приятно смотреть. Всякий раз, как папа взмахивает косой, слышится нежный свистящий звук, который некоторое время дрожит в воздухе. За косарями остаются ровные ряды травы, и на ней тускло блестит на солнце невысохшая еще ночная роса. Я собрался сгребать вилами траву, но папа остановил меня:

— Еще рано, сырая... Возьми-ка лучше косу да поучись косить...

Я обрадовался. Еще бы! Косить, как взрослые!

Проворно подбежав к арбе, я вытащил из возка косу.

— Нет, не эту... Возьми-ка лучше небольшую косу, ту, что привязана под арбой.

Вот это да! Новенькая и как раз по мне! Блестит и звенит! Кажется, что она сама, без всяких усилий — даже взмахивать ею не надо, — примется сейчас срезать траву. Ой, спасибо папе, что специально купил для меня... Я торопливо ринулся к нескошенному краю луга.

— Постой, Заманбек... Не торопись! — усмехнулся в усы отец. — Дай-ка я ее отоблю, заточу...

Папа улыбался! И назвал меня по имени... Я готов был броситься ему на шею, крепко обнять... Но удержался — не к лицу парню, мечтающему дружить с девчонкой, такие нежности, стыдно.

Папа отбил звенящую на всю округу косу молотком и принялся учить меня:

— Правую ногу выставь вперед, коса должна идти низко, не касаясь земли. И держи покрепче, чтоб коса не раскачивалась. И не дергай, следи, чтоб не хватить по какому-нибудь корневищу...

Но я перестарался, с силой дернул рукой и едва не упал. Папа косит, его коса лишь слегка трогает головки цветов, словно поглаживает, а потом со свистом срезает траву... Стыдно мне стало своей неловкости.

— У тебя слишком широкий размах, сынок. Ты старайся касаться травы всем острием и потом спокойно, без рывков води косу к себе.

Я снова размахнулся. Видно, на этот раз я слишком много травы захватил, коса словно споткнулась и не двигалась. В третий раз я срезал маленький пучок. В четвертый, в пятый...

Прошло примерно полчаса. Оглянулся — даже глаза отвел от стыда. Позади — кучки скошенной, обрывки недорезанной и совсем нетронутые островки густой травы. Я расстроился и присел. Руки мои ослабели, и сам я устал. И это после каких-то десяти взмахов косой! Эх! Сомневаюсь, что из меня выйдет косарь. А я-то еще пытался Окаса учить! А что скажет папа? Думаю, он все-таки не станет смеяться над тем, кто спотыкается...

— Оставь, давай-ка лучше напьемся, — проговорил отец, поглядев на солнце и вытирая пот со лба.

Мы уселись кружком и не переводя дыхания выпили холодный просняной коже. Да еще с каким удовольствием! И тут так захотелось спать, ну как на рассвете. Я громко

зевнул и принялся искать какое-нибудь укрытие. Под арбой была небольшая тень.

Я уже хотел, закрыв лицо бешметом, полежать там, да отец не разрешил: сказал, что сыро.

Кокай снял ботинки и вытянул ноги.

Отец курит. Докуривает каждую сигарку почти до конца, чуть не заглатывая окурки.

Солнце поднялось уже высоко и стояло теперь над самой моей макушкой. Жарко. Я заметил в траве обрывок старой газеты, из которой папа сворачивал самокрутки, и принялся читать. В первой строчке крупно напечатано слово «Неаполь». Неаполь... Пойдите... Да это же город в Италии! Верно, в Италии... Мы проходили по географии. На Европейском континенте. Столица — Рим. Разве не так?.. А Неаполь... Пойдите, уж не в этом ли городе живет знаменитый певец Робертино Лоретти, который еще поет такую красивую песню... Ой, да как же она называется? «Санта...», «Санта...», «Санта Лючия!» Да, да... «Са-анта-а Лючия-а...» Ведь это ее попытался однажды спеть Окас. После родительского собрания. Тогда Куляш танцевала, а я читал стихотворение. Вслед за мной вышел Окас. Не стеснялся, вроде меня, не краснел, не конфузился. Он уставился на зрителей выпуклыми глазами. Затем, подражая одному заслуженному артисту, который однажды давал концерт на центральной усадьбе, он кокетливо повернул голову к аккомпаниатору и сделал ему знак. Начал он неплохо. А вот когда дошел до «Санта Лючия-а», то страшно покраснел и... запищал. Из глаз его брызнули слезы. Окас никак не мог подавить этот писк.

«Бедный мальчик,— вздохнула мама, сидевшая со мной рядом,— как он мучается...»

«Санта Лючия» — Робертино! Как складно, а? Как подходят друг к другу! Эти имена так созвучны! Гармония! Симметрия! Только так и могут звучать имя певца и прекрасная песня! А то: «Санта Лючия» и Окас! Ха-ха-ха! Какая же тут симметрия! Песня — сама по себе, Окас — сам по себе. Когда слушаешь хорошую песню, то кажется, что и сам сможешь ее спеть — громко и красиво. А этот разве поет? Чирикает! Как воробей! Некрасиво, неприятно... Да что его песня, когда есть стихи! Если бы даже Окас хорошо спел «Санта Лючию», так его лишь свои слышали бы, аулчане, и лишь они похвалили бы его. А мои стихи были напечатаны в «Пионере Казахстана», и моя слава прогремела по всей республике. И, может,

каждый пионер, кто прочитает это стихотворение, подумает: «Вот ведь как здорово написал мальчик по имени Заманбек». Ведь плохие стихи в газете не напечатали бы! Вот где слава-то!

Я перевернул газетную страничку. Там было написано что-то о лазере. Почти ничего не понял, потому и не стал читать дальше.

Над нами запел жаворонок. Я взглянул на небо; солнце ударило мне в глаза. Оно не обожгло, не сделало глазам больно, а лишь заставило зажмуриться. Из нашего класса одна Куляш может не мигая смотреть на солнце. Возможно, потому у нее самой в глазах сверкает и переливается маленькое солнышко.

По-моему, только Куляш достойна того, чтобы вобрать в свои глаза солнце, сверкающее на голубом небе.

Зной. Небо словно дымкой подернуто. От реки доносится крик какой-то птицы. Наконец она умолкла. Только пчелы, перелетая с листа на лист, нарушают тишину, умножают звуки. Садясь на полураскрытые венчики желтых одуванчиков, пчелы, жужжа и выпятив округлое брюшко, пьют нектар.

Из-за далеких гор появляется самолет. Рокот его все ближе и громче.

Отец поднимает голову.

— Все, пора вставать! Трава уже подсохла. Ты, Заманбек, сгребай ее в копешки и ставь их прямо, не в наклон, чтобы сено не сгнило под дождем.

Он тотчас принимается за работу. Кокай, все еще сидя на земле, засматривается на самолет, который уже превратился в темную точку.

— Пах-пах!— цокает Кокай языком.— Как приятно гудит. Век бы слушал...

— Неужто не надоел тебе этот рокот, Коке, а?— улыбается отец.— Небось столько наслушался... Сколько их у тебя на счету?

Кокай смущенно молчит. Берется за косу, но прежнего темпа в работе уже нет.

Копнить сено — не то что косить. Эта работа скучная, малоинтересная. Когда косишь, то видишь, как твоя коса срезает траву под самый корень, как та потом валится на землю. А копнить? На каждую копну уйдет не меньше пятнадцати взмахов граблями. Один, два, три, десять, двадцать... Фу, даже со счета сбился, считать и то устал, не то что... И копну-то надо сложить умеючи. Если кое-как

слепишь, она заваливается набок или получается низкой, приплюснутой. И нужно собрать сено со всей этой поляны... Ой-ой-ой! Как скучно! А солнце все припекает — жарит вовсю. Пылающий желтый шар совсем приблизился к земле... Была уже примерно пятидесятая по счету охапка, поднятая мною на вилы, как у меня закружилась голова и я чуть не упал... Это только в кино показывают терпеливых и крепких ребят. Копна для них — ничто, они целые стога сооружают. И никакой усталости — наоборот, они веселы, довольны. Все шумят, поют песни... Или для кино специально таких здоровенных ребят подбирают?

Хоть бы и меня в кино засняли! Но я не стал бы копнить там сено. Есть куда более интересные дела, чем вилами орудовать. Например, война... И чем я хуже мальчишки из «Школы» Аркадия Гайдара? Вот подо мной резвый конь. Какого лучше выбрать? Вороного или гнедую кобылу? Однажды на скачках вороной наш всех обскакал. Тогда лучше заберусь я на вороного, возьму в руки кривую саблю и, беспрестанно стреляя по врагам из винтовки, прогоню их... А врага, конечно же, будет изображать Окас, больше некому. Вот он и побежит прочь — со стоном и плачем. Скажет, что, мол, завтра же пожалуется на меня «Смирно»-агаю. Ну и пусть жалуется, хоть тысячу раз — мне-то что! И этому агаю мой ответ короткий, мне сказали: «Играй», — так я и играю. И вот сейчас изрублю врага саблей, как об этом написано в книге. Размахивая саблей — ясно, что деревянной, — я с наслаждением полосну по стальному шлему Окаса. Он падает навзничь... А я — на коне! В одной руке развевается знамя, в другой — высоко поднятая блестящая сабля. «Смерть белякам! (Конечно же, Окасу...) Революция победит!» — кричу я. И это кино с удовольствием смотрит в переполненном клубе Куляш со своими подружками.

— Эй, ты почему вилы кверху задрал?

Отец... Вместо сабли я поднял над собой вилы. Я растерялся и принялся тыкать ими в землю, с которой уже сгреб сено.

— Ой-ой! Моя поясница! — скорчился Кокай. — Подай ко мне, Заманбек, мой милый! — позвал он меня протяжным, плачущим голосом.

Я подбежал к старику.

— Подними-ка повыше мою рубашку! Со спины!

Я задрал его рубашку до самого затылка.

— А теперь нажми пальцем вот здесь, в боку. Пониже, дорогой, пониже. Вот-вот, нашел. Чувствуешь пальцем круглый узелок, а? Круглый-прекруглый, как кулак...— Он подумал немного и продолжал:— Прямо с баурсак, а? Так-то...

Конечно, если меня уверяет такой взрослый человек, как Кокай, я и в самом деле нащупываю у него под кожей что-то твердое..

— Есть, есть...

Он так глубоко вздохнул, что, казалось, у него жилы лопнут.

— Большой?

— Маленький, с горошину...

Кокай не соглашается со мной:

— Ты, парень, брось! Оставь эти слова: «маленький, с горошину». Тебя человек просто спрашивает: нащупывается там что-то или нет?

— Да, да,— отвечаю я неопределенно, не понимая, что должен говорить, чтоб угодить ему.

— Ох! Как только подниму что-нибудь тяжелое, поработаю подольше, так и начинает ныть... Ох, ох, ох...

Старик обеими руками держался за поясницу и стонал.

Я испуганно уставился на него... Ой, да уж не умирает ли он?

Папа не обращает на нас никакого внимания. Знай себе косит. С прежним усердием. Кончики его черных усов шевелятся... Смеется, что ли? Чудно...

— Ой-ой!..

Мне стало досадно. Человек заболел, а отец даже не смотрит в его сторону.

Я подбежал к отцу.

— Папа,— сказал я, тронув его за локоть,— Кокай-ага заболел.

— Если твой Кокай-ага заболел, пусть... покурит,— отвечал он, продолжая косить...

Достаточно было этих слов, чтобы боль Кокая мгновенно утихла. Старик растянулся тут же, где сидел, и задымил самокруткой. Он повеселел. Я же страшно удивился: ни с того ни с сего боль прекратилась. Так же внезапно, как и началась. Вот и Жанипа-апа, случается, тоже посинеет вдруг вся и падает. И это продолжается не больше двух-трех минут. Видно, одна у них болезнь...

Я кончил копнить. Осталась нетронутый лишь мягкая, сочная трава, только что скошенная отцом.

Папа отбросил косу, вытер с лица пот

— Пора возвращаться. Солице вон уже где. Пойду приведу лошадей. А вы, Коке, накидайте в арбу скошенной травы — для себя и для вашего... помощника, — улынулся отец. — К тому времени вы уже отдохнете... Идет?

— Пусть будет так, светик мой, Сауытбек.

Зайди за копну, отец поманил меня пальцем.

— Пойди-ка сюда, Заманбек. Возьми вилы и подправь копну. Гляди как разлохматилась, — сказал он и, захватив пару уздечек, зашагал по лугу.

Вернувшись к Кокаю, я увидел его воспрянувшим, с горящими глазами.

— Что сказал тебе отец? Он... Ничего не оставил?

— И, не ожидая ответа, протянул: — Сейчас бы сесть да... — он хихикнул, потирая руки. И вдруг нахмурился: — Иль сначала набросаем в арбу травы, а? Ох и вспылчив Сауытбек, а то бы... — Увидев, что я, раскрыв рот, уставился на него, он нарочито кашлянул. — Отец твой, говорю, человек требовательный... Это дело никуда не денется, в аул не сбежит. Давай-ка, парень, сначала сделаем то, что отец твой велел.

Мы принялись за дело. Кокай воодушевленно командовал:

— Вот тут положи охапки три... Посредине утаптывай... Да полегче-полегче, а то всю траву вывалишь...

Я — на арбе. Старик стоит внизу. Подхватив вилами мягкую траву, подбрасывает ее мне под ноги. Я раскладываю сено по дну телеги.

Быстро, быстрее, чем нужно времени, чтобы вскипеть молоку, мы соорудили себе прекрасную подстилку. Побросав вилы, устраиваемся под арбой.

Зной обволакивает, и трудно дышать. Утомленный, я вскоре задремал... Ветерок, немного поиграв моими волосами, утих. Стрекохут кузнечики... Один из них, трепеща крыльями, уселся на кончик моего носа. Я не стал его отпугивать. Шырк-шырк-ки... Я открыл глаза, прислушался. Над ухом прожужжала стрекоза: «Жжарра, жж-ар-ра!» Надоела. Прогнал. И только после этого я тихонько позвал:

— Агай!

И увидел в щель между ресницами, как слегка поше-

велился Кокай, который лежал, закрыв лицо платком. Он сел, шурша травой и ломая ее стебли. Не понимая, откуда исходит голос, оглянулся вокруг. Зеленый луг, потонув в мареве, словно горит, дымится под знойными лучами. Никого.

Опираясь о землю руками и похрустывая суставами, Кокай поднялся. Сгорбившись, обошел копну. Тишина. Никого.

Я не выдержал и фыркнул. Он насторожился. Его тонкое ухо светилось на солнце. Старик торопливо подполз ко мне, нагнулся. Его дыхание коснулось моего лица.

— Заман, что?

— Ничего, просто так...

Я отвернулся и с наслаждением принялся обрывать стебли мягкой и сочной травы, щекотавшей лицо. Потом снова начал исподтишка рассматривать Кокаю. Голова у него круглая как шар. И к этой небольшой головке как бы приколотен коротенький носик. И тело у старика короткое, подвижное.

Хотя у самого Кокая скота немного и большие запасы сена ему ни к чему, он — хороший косарь. И эта слава мастера своего дела заставляет тех, у кого скота порядочно, обращаться к Кокаю. Помимо того, что старик здорово косит, он еще всякими шутками-прибаутками вносит оживление в любое дело. А на это Кокай мастер. Он беспрестанно рассказывает всякие истории. И речь его льется, что вода. Просить слова или там уступить кому-либо очередь — нет, на это он не способен!

Окончив рассказывать о том, что испытал сам или пережили другие, он продолжает рассказывать всякие небылицы. Если бы их рассказывал кто-нибудь другой, ему бы никто не поверил, а вот болтовне Кокая верят — и все потому, что сам Кокай всем сердцем верит в то, о чем рассказывает. И попробуй его уличить во лжи — закричит, обидится чуть ли не навеки..

Снова доносится рокот. Кокай сидит молча, и его бородка смешно вздергивается вверх. Я опять фыркаю. Неодобрительно покосившись на меня, старик вдруг спрашивает, тыча грязным пальцем мне в грудь:

— Знаешь ли ты, что такое солдат, а?

— Я еще не дорос... Далеко мне до призывного возраста...

— Вот так и говори. Ты... ты обыкновенный, нерешительный и робкий мальчишка, зеленый юнец! — старик

строго глядит на меня. Не улыбаясь, не называя ласково по имени. И сидит он, словно гость, подобрав под себя ноги и подоткнув рубаху.— А знаешь ли ты, где я служил?— он ударяет правой рукой по своему колену.

— Говорят, вы в армии были...

— Ну, парень!— чуть ли не кричит он и вскидывает вверх короткий большой палец.— Твой Кокай служил не в нынешней армии, а в действующей. Те солдаты были рослыми, крепкими джигитами. Вот я, например...— не договорив, он поджимает губы. Сейчас он сидит на корточках и оттого кажется совсем крохотным. Я прячу улыбку. Ведь он и сам знает, что неказист, ростом не вышел.

— Знаешь ли ты, парень,— снова заговаривает Кокай,— что такое действующая армия?

Я беспомощно моргаю глазами. Не надеясь услышать от меня что-нибудь путное, старик продолжает:

— Действующей армией называют сотню, две, три сотни солдат, которые лежат в окопах. Так вот эти самые солдаты и днем и ночью, можно сказать, палят из винтовок. А вылезешь из окопа и пойдешь немного назад, то считай, что попадешь в тыл. А там стоят в превеликом множестве танки, орудия, задрав вверх свои стволы. Зенитки называются. Ну-ка скажи, какой величины снаряд?

Я качаю головой.

— А вот какой!— показал он, разведя руки в стороны и сжав кулаки.— Если попадет в человека, то превратит того беднягу в шашлык.

Я со смехом валюсь на траву и долго катаюсь по ней...

— Форма на нас так и сверкала, так и сверкала. На плечах — золоченые погоны. Война с фашистами только-только началась...

— Тогда еще не было погон, ага...

Сначала он удивленно уставился на меня, потом снова заговорил:

— Были... И не перебивай... Надо уважать старших — этому вас и в школе учат.— И он ткнул указательным пальцем вверх, словно наша школа находилась где-то на небе...— И не все ли равно, были тогда погоны или нет. Любите вы, шайтанята, к каждому слову придирайтесь... Да, о чем же я рассказывал-то, забывал... На чем же мы остановились? А! Так вот построились мы. И твой Кокай-то — боец Советской Армии. Фашисты сами начали

наступление... Недаром говорят, что напуганная утка хвостом ныряет...

Кокай надолго замолкает, задумывается.

— Вы не дорассказали, как воевали...— напоминаю ему.

— Говорил ведь я, что золото у тебя во рту. Оказывается, и впрямь золото,— снова оживляется старик.— И вправду, я хотел рассказать про фашистов. Да... эти проклятые напустили на нас не солдат своих, а аэропланы. Первые сбросили на нас бомбы. С грохотом и свистом. Земля дрожит, трясется. И многие наши полегли. В живых остались лишь мы вдвоем — я да командир дивизии Павлов. Здоровый он, грудь колесом... Ростом во...— он по-искал глазами, с чем бы сравнить рост комдива. Посмотрел сначала на небо и, не сообразив, как измерить высоту этой синевы, принялся оглядываться вокруг.— Ну вот с эту копну, пожалуй... Мы с ним были почти одного роста...

Я взглянул на копну, верхушки которой едва достанешь и кончиком вил, посмотрел на сидящего под арбой возле этой копны Кокай, похожего на птенца, и принялся хохотать пуще прежнего. Хохотал, пока слезы на глазах не выступили.

Если уж врать, так врать, как этот агай, не иначе. Рассказывая свои истории, Кокай всегда привирает для бóльшего интереса и сам начинает верить в выдумку.

Он кое-как напяливает на себя бешмет с заплатками на локтях, поднимается и направляется к не скошенному еще краю луга. Ступив на затерянную в траве, едва заметную тропинку, идет к аулу. В распрямившейся фигуре Кокай, во всем его крохотном тельце сквозит обида.

Я побежал за ним, тронул за локоть.

— Агай, простите!..

Куда там!.. Идет себе, даже не оглядывается.

Носик еще больше вздернут. Узкая грудь выпячена. Все бы ничего, да вот обижен-то Кокай, видать, по настоящему.

— Ну простите, агай,— я хватаю его за руку.

Он ее вырывает. Молчит. У старика уж такой обычай — чем больше его просишь, умоляешь, тем сильнее он упрямится, важничает. Удивляюсь я этим старикам. Нас считают несмышленишками, а сами ведут себя хуже детей. Ведь дети понимают, если им что-то объясняют, и даже осознают свои ошибки. И взрослые должны осознавать

А вот поглядишь на таких, как этот упрямец, и поймешь, что и взрослые не святые...

Честно говоря, я и на себя был зол. Плохо ли, хорошо ли, а Кокай помогал нам косить, рассказывал всякие истории, мешая правду с выдумкой. Я же, дурень, смеялся над ним, даже хохотал. Вот вернется сейчас отец и спросит, где Кокай. Ничего себе, хороший ответ услышит он: «Ушел». Почему? Отчего? Я смолчу. А что мне сказать? Отец по головке не погладит за насмешки над взрослыми.

— Агай,— говорю. Я даже сам не заметил, как голос у меня сделался плаксивым.

Однако Кокай уже не прежний Коке. Не оглядываясь вокруг, не обращая ни на что внимания, он знай себе топает вперед.

Я чуть было не заревел.

Да тут еще попалась мне под ноги коробка, что белела на тропинке. На ее боку были нарисованы остроносые ботинки. И еще что-то написано золотом, красиво так. По-иностранному, непонятно. И картинка эта, конечно, вызывала досаду у того, кто не носит такой обуви. Я размахнулся и изо всех сил поддал ногой коробку. И... заорал, громко завопил, раскрыв рот, как лягушка. Схватив ушибленную ногу, я присел у края дороги. Кокай тут же суетливо подбежал ко мне. Мы с ним развязали шнурки. Глаза мои от испуга полезли на лоб — показалось, что ботинок полон крови, что большой палец совсем разбит... Мой прежний крик был просто шуткой по сравнению с тем воплем, который я издал на этот раз. Он громом раскатился по небу. И если тот крик не достиг ушей аллаха, то уж этот определенно долетел до самых райских ворот и разнес их на куски... Да нет, шучу — не верю я ни в аллаха, ни в шайтана, просто крик мой был эхом горькой обиды на Кокаю, на себя, на коробку с золотыми буквами. Под той пустой перевернутой вверх дном коробкой лежал большой красный кирпич. Что за хулиган упрятал его под коробку? И непонятная иностранная этикетка... Ой, да не Окас ли ходил вчера, поскрипывая новыми ботинками? Ходил по той улице, где живет Куляш... Хотя его никто и не спрашивал, он всем охотно сообщал, что ботинки чешские, потом сказал, что польские, а под конец — что они прибыли из-за океана, из США... Видали? Не из Америки, а из США! А их арба на рассвете проехала как раз по этой дороге! Об этом говорят четкие следы. Окас

ведь всегда до смерти завидовал мне — капитану школьной футбольной команды. И он прекрасно знал, что я не пройду равнодушно мимо коробки, что я обязательно ударю по ней ногой... Точно, это его проделка!

— Ничего, ничего, родной,— говорил между тем Коккай.— Ноготь сломался, да ранка небольшая...

Он разорвал свой пропахший потом и табаком платок и перевязал мне палец. Закрыв глаза, он что-то бормотал под нос:

— Суф, суф...— поплевывал он при этом. Видно, по-своему заговаривал боль.— Все заживет быстро. У меня рука легкая... Ну, как теперь себя чувствуешь, а, дорогой? Чуть не умер, бедный ребенок...

Старик так сочувственно глядел на меня! И в его глазах не было даже тени недавней обиды. Подхватив под мышки, он повел меня назад к той копне. Нагнувшись, устроил удобную постель из мягкой травы, выбрасывая жесткие камышинки.

— Пить хочу, агай,— попросил я слабым голосом, вспомнив, что раненые всегда просят воды.

— Сейчас, мой дорогой, сейчас...— проговорил он и, взяв баклагу, потрусил к реке.

* * *

Боль в пальце постепенно утихала, лишь время от времени подергивало самый кончик. «Окас — вредитель, настоящий вредитель»,— думаю я. Как-то весной мы с ним ходили на вечерний сеанс в кино. Заранее знали, что покажут. Если какой-нибудь фильм идет в соседнем ауле днем, то у нас демонстрируется вечером. Потому что аулов два, а киномеханик — один. Картина называлась «Серебряные трубы», об авторе книг «Р. В. С.», «Тимур и его команда», «Чук и Гек». Лишь спустились сумерки, мы наперегонки помчались к клубу. Только возле самых дверей перевели дыхание. Остановились и видим — сам «Смирно»-агай, Саукен Сайранович, преподаватель физкультуры стоит у входа. Раньше, говорят, он долго служил старшиной на погранзаставе и привык командовать громким голосом. Потом демобилизовался и к сорока годам стал учителем физкультуры. И вот начиная с прошлого года он и выстраивает нас в два ряда по команде «смирно», а сам, заложив руки за спину, важно прохаживается перед нами. Смотрим на него и любимся — ну

настоящий старшина! Но он мастер ловить тех, кто без разрешения ходит в колхозный сад или на вечерний сеанс в кино.

О том, что фильм, который в тот день пойдет, для детей, мы прочли в журнале. Однако это не могло оправдать нас в глазах «Смирно»-агая. По его убеждению, если фильм показывают вечером, то всё — ученики не смеют появляться в зале. Придет школяр — значит, он сбился с правильного пути, испортился.

Итак, Саукен Сайранович тут же поманил к себе пальцем Окаса, который стоял, благодушно улыбаясь, впереди меня. Известно, зачем позвал, — поставит сейчас по стойке «смирно» и с удовольствием отчитает. А потом еще и на школьном собрании припомнит о проступке. Он такой — суровый, придиричивый и очень проницательный.

Окас не долго думая моментально повернулся на все сто восемьдесят градусов и задал стрекача. Я от него не отставал. Мы мчались по темным улицам так, что брюки раздувались от ветра. Скоро мы оставили далеко позади долговязого физкультурника. И я, доказав еще раз свое первенство по школе в беге на пятьсот метров, вырвался вперед. Окас — позади. А ему только этого и надо было.

— Эй, Заманбек, стой, говорю... твой отец!.. — заорал он на всю улицу и вдруг замолк.

Я замер. Почувствовал — погибаю, будто меня бросили в Карасу. Окасу мало того, что самого схватят, он, называя по имени, и меня выдает с головой! Я оглянулся и вдруг вижу, что он, собираясь перемахнуть через забор, зацепился штаниной за гвоздь и так повис. В сумерках отчетливо выделялись его белая рубашка и кепка. Я помог ему освободиться и с досадой дал подзатыльник. Окас чуть было язык не прикусил.

Наконец-то мы спаслись, удрали. Если учитель и бежал за нами, он отстал уже на одной из темных улиц и теперь бродит, «подбирая жучков», как говорится. А мы стоим на окраине аула и переминаемся с ноги на ногу. Вдруг Окас стал канючить:

— Давай вернемся...

— Зачем?

— Да так...

— Если скажешь, пойду.

Он задумался.

— «Смирно» сейчас уже вошел в зал.

— Ну и что?

— Это ты увидишь потом, а сейчас пошли.

Мы подкрались к зданию клуба. Уже почти ночь. Надрывно кашляет небольшой движок. Луны не видно. Кое-где в ауле побрехивают собаки. Окас нагибается и что-то подбирает с земли. Гляжу — длинная ржавая проволока.

— Ты подожди меня здесь, — вдруг что-то осенило Окаса. — А я схожу юн туда, — кивнул он на дверь клуба.

Его глаза возбужденно блестели. Я же должен был стоять и ждать, пока он вернется назад. Вернется, что-то натворив, — это уж точно! Но вот что именно он собирался сделать, этого я разгадать не мог.

— Зачем пойдешь туда? — все же спросил я.

— «Зачем-зачем»? Тебе-то какое дело! Сказали — стой, так и стой где положено и не двигайся с места. — Он рассердился.

Окас принялся что-то делать возле дверей клуба. Подул весенний холодный ветер. Я промерз до костей. Скоро Окас вернулся. Веселый. Даже что-то мурлычет себе под нос. Проволоки в руках уже нет.

— Ну все, что ли? Пошли!

— Подожди. И не дыши.

— Почему?

— Ты что, других слов не знаешь, кроме «почему»? Во-первых, задавать этот вопрос куда легче, чем отвечать на него. Во-вторых, тебе совсем не обязательно знать то, что знаю я. А в-третьих, начиная с девяти часов и двадцати пяти минут вечера, — при этом он с важностью взглянул на свои огромные, с плошку, часы, — итак, с этого момента твое имя «Почему». Слышишь, пучеглазый?

Я готов был вцепиться в него, схватить за ворот, не смотря на то что он старше меня, сильнее. Но под ногами скользко, грязь — дождь прошел... И почему Окас такой раздражительный? И чем же он бахвалится? Уж не тем ли, что прочтет в месяц несколько книжек, что-то там заучит наизусть? Он и рисует, он и поет... Но разве это дает ему право так набрасываться на всех?.. Вот я, например, не хвастаюсь, хоть мое стихотворение и напечатали в газете... Ну ладно, черномазый Окас, пусть только наступит жаркое сухое лето, когда и падать-то на землю, на степную траву мягко будет, — вот тогда-то и посмотрим, на что ты способен. А пока делать нечего. Приходится вместе с Окасом прятаться в тени акации. Скоро из клуба

стали выходить зрители. И слышались охи да ахи

— Ой, все колено ободрал!

— Ох, моя нога!

— Да подождите, не напугайте. Какие-то собаки проволоку натянули.

Окас дергает меня за рукав:

— Бежим!

...На следующее утро Саукен Сайранович позвал нас в свой кабинет и заставил стоять по стойке «смирно» целый час. Потом сказал:

— У бестолковых, ходящих на вечерний сеанс в кино, голова наполнена лишь водой и соломой.

Мы вышли из кабинета страшно утомленные и, сомневаюсь, в сознании ли...

А в коридоре Окас вдруг схватился за живот и расхохотался.

— Чему смеешься? Почему?

— Снова «почему»? И когда они кончатся, твои вопросы? Ну и глупый же человек, чудак!— Он кивнул на кабинет физкультурника.— Ведь глуп тот, кто других называет глупцами. Понял, «Почему» с большой буквы плюс «Впросительный знак»?

«Мудрость» Окаса, по правде говоря, сначала меня удивила. На каком основании он обвиняет Саукена Сайрановича, называет глупцом? Только потому, что тот назвал нас бестолковыми? Тогда, по его же мысли, выходит, что, считая другого глупцом, он, Окас, и сам дурак? И только было я собрался сообщить приятелю об этом своем открытии и уже дернул его за руку, как зазвенел звонок на урок.

Начались «острова» и «океаны» Розы-апай. Гляжу, настроение у нее неважное, к тому же еще она и прихрамывает. Лодыжка распухла, это заметно. Хоть Роза-апай и старается не подавать вида, но время от времени морщится. После урока Куляш проводила ее домой.

— Что случилось с учительницей? Почему хромает?— набросились мы на Куляш с вопросами, когда она вернулась.

— Вчера вечером кто-то протянул проволоку поперек входа в клуб. Апай споткнулась и ушибла ногу. Вот ведь дураки! Недоумки!

Я вспыхнул, словно меня внезапно схватили за шиворот. «Дураки!» И кто же? Да мы с Окасом!

После уроков я потащил этого «деятеля» в сад, что был за школой.

— Ну-ка, признавайся лучше сам, что вчера наделал? Говори, а то по шее дам.

Окас вытаращил глаза.

— За что, «Почему плюс Вопросительный знак»?

— А за то!

— Ну хватит — не шути, птенец! Я снова повторяю: за что? — Он, важничая, выставил вперед правую ногу.

— А за то, что протянул проволоку поперек клубной двери...

— Многоуважаемый «Почему плюс Вопросительный знак», разрешите напомнить вам, что в том торжественном событии и вы принимали участие!

— Ну, я тоже дурак. Но виноват ты...

— Если хочешь знать, я ведь хотел, чтобы «Смирно»-агай кувырнулся...

— Не все ли равно — агай или апай. Нельзя так подло... мстить людям! — Я был в ярости.

— Гнилой, — он сплюнул, — гнилой гуманизм. — Хоть я и не понял его последнего слова, но было ясно, что он не похвалил меня. — Если тебе вздумается ни с того ни с сего дать по шее — воля твоя, шлепни себя, но других не трогай, «Почему плюс Вопросительный знак»! Понял?

Я хватил его по плоскому носу... Началась драка. Руками, ногами... Мы тузили друг друга и портфелями. Царапались, даже кусались. Минуту, две... Я сопротивлялся пять минут, показав невиданную дотоле храбрость. Но потом Окас все-таки повалил меня, да еще несколько раз стукнул по голове. Ему надо было бы успокоиться на том, что он сломил мое сопротивление и я лежу обессиленный. Однако он еще с победоносным видом процедил сквозь зубы по-русски:

— Щен-нок! — и пошел прочь.

В тот раз я впервые не жалел, что меня поколотили. Все равно, если бы даже Окас и не побил меня, я рано или поздно должен был поплатиться за глупость, которую совершил в тот вечер.

* * *

...Зашуршал камыш. Гляжу — Кокай. Подняв баклагу над головой, он еще издали кричит:

— Эй, дорогой мой, как дела?

Подойдя ко мне, садится на корточки. Никак не может отвинтить пробку посуды. На лбу у него крупные капли пота.

— Ну и жара, ну и зной — растопиться можно..

Он обтирает рукавом горлышко баклаги.

— Сейчас, мой голубок, сейчас...

А я облизываю языком пересохшие губы. Баклагу, наверное, я получу в полное распоряжение. Я очень благодарен Кокаю: он, бородатый старик, сбегал за водой для какого-то непутевого парнишки.

— Ну, с именем аллаха, как говорится... Попробуем... — И Коке, не переводя дыхания, сам приник губами к горлышку посуды. Глаза выпучены, редкая бородавка при каждом глотке вздрагивает. А я гляжу и чуть не плачу. И сердце у меня замирает всякий раз, когда вздымается вверх дно баклаги, на боках которой играют солнечные зайчики.

— Ну-ка, дорогой, утоли жажду — выпей воды, только не расплескай. — Старик поставил передо мной посудину, где булькали остатки влаги. Все подобрал, все выпил! Я глотаю наворачнувшиеся на глаза слезы. А Кокай как ни в чем не бывало, укрыв лицо платком, уже повалился на траву. И принялся напевать. Ни слов, ни начала, ни конца, а только:

— Ору-рай, ору-рай, рай...

...День уже совсем клонился к вечеру. Теперь больше не слышно было тонкого звона кос, однако беспорядочное стрекотание кузнечиков все еще не стихало. Издали доносившийся резкий, неприятный звук. Кто-то яростно точил косу. Видно, еще собирался поработать. Были и такие, кто, понаставив на лугу конусообразные копны, возвращались в аул, покачиваясь на арбах.

Едут, так и пусть едут — для моего больного пальца нет ни пользы от этого, ни вреда. Я досадовал и на себя, и на других. На себя за то, что пнул этот проклятый кирпич под коробкой, на Кокая, беззаботно растянувшегося подле меня. Во мне зрела большая и черная, что котел, обида.

— Агай, — позвал я тихонько.

«Агай», то есть Кокай, как раз в этот момент почесал свой живот и на меня не обратил никакого внимания. Жажда он утолил, пальцы у него целы, знай себе дремлет сладко, да еще и мурлычет... Для него сейчас жизнь — что этот безоблачный тихий вечер.

Вдруг я чуть не застонал... от радости, но вовремя закрыл рот. На загорелый живот Кокая уселся плоскоголовый слепень. На лбу у него два больших, как фары, зеленых глаза. Сначала слепень передними лапками важно погладил голову. Я едва не расхохотался, позабыв даже о своем больном пальце. Кокай, ну вылитый Кокай! Так и он, поднявшись на рассвете и обняв кувшин с отломанной ручкой, обходит забор, а затем проводит влажной рукой у себя за ушами, по лицу и... «по пути аллаха» — начинает утреннюю молитву. Я продолжаю наблюдать за слепнем, который своими движениями здорово копирует Коке. Но сам слепень и не подозревает, что так похож на старика. Вот он вытащил из ножен кинжал — свое жало и солидно так, важно вонзил в живот моего Кокая. Задрав кверху задок, он впился в него и застыл...

Кокай, не поднимая платка с лица, шлепнул себя рукой по животу. Тяжело поднявшись в воздух, слепень стремительно улетел прочь. След, оставленный им, — вишневая капелька крови. На нее-то и уставился теперь Кокай.

Я расхохотался. О том, что Кокай рассердится и может снова удрать в аул, я и не подумал. Ведь не я виноват в том, что его укусили! Хочет, так пусть и наказывает — убивает слепня. Но ведь для этого прежде нужно догнать и поймать того слепня! Продолжая смеяться, я выкрикиваю:

— Это не я... виноват!.. Слепень! Слепень!

Сначала Кокай расстроился, а потом тоже рассмеялся и махнул рукой.

Я не думал, что так быстро завершится это забавное событие, неожиданно свалившееся на нас прямо с неба. Я снова помрачнел. Да тут еще случайно задел большим пальцем баклагу, и невыносимая боль пронзила всю ногу.

— Агай! — теперь уже громко позвал я.

Однако Кокай и не оглянувшись на меня — все чешет то место, которое слепень укусил.

— Я его поколочу! — почти кричу я на этот раз.

Кокай сначала внимательно взглянул на меня, а потом тихо спросил:

— Кого?

— Окаса! Сына Жанипы-апай.

— Что ты сказал, негодник? — старик сорвал с лица платок и резко повернулся ко мне.

— Это он спрятал кирпич под коробку!

— Откуда ты знаешь?

— Знаю. Ведь как раз по этой дороге сегодня на рассвете вслед за нами проехала арба Жанипы-апай. А вчера Окас щеголял точно в таких бстинках, которые нарисованы на коробке. И он еще с вечера решил сделать пакость...

Мои доводы заставили старика задуматься. Он почесал в затылке.

— Ты... парень... Заман... Заманжан,— заговорил он наконец.

Снова удивил меня этот старик: от «негодника» внезапно перешел к ласкательному имени.

— Да что же с ним можно поделаться, Заманбек? Мать его слабая, больная женщина. Она — вдова, сын — сирота. Драчун и задира — это верно. А разве не бывает в ауле злой, паршивой собаки? Бывает. И что хорошего в том, что бедняжку заставляют визжать и скулить, забрасывая камнями? И какая тебе польза от того, что побьешь беднягу? Он и так обездолен...

Похож ли Окас на паршивую собаку, нет ли — это еще нужно расследовать, но меня удивляло совсем другое. Удивляло, что Кокай так просит за него. Но я не забыл и того, как старик, терзая мою душу, упрямо шел в аул. Поэтому безжалостно продолжаю:

— Нет, он плохой мальчишка. Вот, например, в прошлом году на уроке литературы, когда я, встав с парты, читал басню «Ворона и Лисица», он подсунул под меня чернильницу. И я сегодня же подкараулю его да отлуплю...

— Светик мой, знаю я вашу школу, знаю,— перебивает меня старик.— Красивое такое здание, белое. И учителя там добросовестные, честные. Они вас плохому не научат. Они не учат вас колотить друг дружку. А раз так, то тебе лучше помириться с Окасом. Если бы не его дурной характер... Да и кто знает — может, он и не думал, что ты поддашь ногой тот кирпич. И лучше бы вам подружиться, одному другого защищать... Соседи ведь, одноклассники...

«Да,— думал я,— если этот Окас не один раз, а десять раз принес мне зло, так могу ж я хоть разок отплатить ему? И почему Кокай с таким рвением защищает Окаса?»

— Нет, не помирюсь,— отрезал я.— Если человек дал слово, так его надо сдержать... Я же сам себе это обещал!

Кокай уселся подле, поджав под себя ноги. Мозолистой ладонью погладил меня по голове.

— Эх, Заманжан, разве не знаешь, что отец его, Мухит, рано умер. С самого детства парнишка растет обездоленным... А ведь даже щенок убегает в степь, если его обижают. Окас же — человеческое дитя. И не глупый он. Вот и мстит за свои детские обиды. Поэтому-то он и кажется таким ненавистником. Дорогой мой, ты пойми Окаса и прости его необдуманные поступки... Надо ему помочь человеком стать. Помогаем же мы, соседи, Жанипе, его матери, хозяйство вести. А ты поддержи парнишку...

Таким вот образом Кокай обратился в мудрого наставника. Это было вероломным нападением с тыла на мои прежние представления, на мой прежний взгляд на Кокая. Я растерялся. Если бы речь шла, к примеру, о моем отце — другое дело. Он словно и создан для того, чтобы приказывать: «Эй, вставай, пора на сенокос!», «Возьми-ка вилы да подбирай траву!» Это привычно для меня и понятно. Но вот превращение Кокая в воспитателя произошло неожиданно. Видно, потому я и сам не понял, как согласился с ним.

— Ну ладно. Не стану его трогать,— покорно сказал я.

— Вот и умница,— обрадовался старик.— Я знал, что ты так скажешь. У хорошего отца и сын неплохой.

Мы лежали, развываясь, где-то между небом и землей. Безмятежно так, ничем больше не интересуясь.

Неустанно верещал жаворонок, прижавшись к голубому поднебесью. Маленький такой, едва заметный...

Послышались голоса. Отец и Окас вели в поводу гнедую кобылу и вороного. Они шли, утопая в густой траве, и солнце выглядывало из-за их плеч. В руках Окаса длинный кнут. И чем больше он раскручивает его на ходу, тем больше осыпается одуванчиков. Белый пух взлетает вверх и плавно опускается на... солнце.

Крупы лошадей отливают бронзой. И стоит им фыркнуть, как над ними тучей вздымается мошкара. Повисев немного в воздухе, мошкара оседает в синеватый тростник. По его верхушкам паук натянул тонкую, блестящую сеть. Подует ветерок, и обрывки паутины свисают длинными нитями. Ну и красиво же, ой-ой! Меня зачаровывает эта щедрая красота нашего Жасана...

Я разбудил снова задремавшего Кокая. Чмокая губами и бормоча, он перевернулся на другой бок. Тогда я потряс его за плечо.

— Ах-ах!— вытаращился он на меня.— А где Окас?

— Кто?!

— Да куда делся Окас, ведь он только что был тут и пил айран¹!

Мы оба смотрим туда, куда он показывает пальцем, но там, кроме примятой нами же травы, ничего и никого нет.

— Вон где Окас!— киваю я в сторону идущих.

— Ойбай, значит, это был сон!— осенило старика.

Отец мой — крупный, высокий, немного грузный. И говорит он весомо, умно, скупно, но слова его всегда справедливы. Людей уважает, сам стеснительный. Со мною он сдержан, ласкает редко. Стоит мне нашалить, так он говорит маме: «Укроти своего сына», будто я только мамин сын. Если же я ему чем-нибудь понравлюсь, он вскинет свои густые брови и молча, по-доброму посмотрит на меня. И все. Этим все и кончается. Может, поэтому Кокай мне ближе, хотя он и не родственник мне.

...Отец, надевая хомут на вороного, спрашивает:

— Ну как отдохнул, Коке?

— Слава аллаху,— отвечает Кокай.— А ты где же так задержался? Гнедая, что ли, сбежала?

— Да куда она денется? На месте была, паслась. По дороге я к Жанипе завернул. Женщина — она и есть женщина. Много ли накосит? Окас, постреленок, сломал косу, да и удрал в камыши... Там я его и накрыл,— рассмеялся папа.— Сено их мы собрали. Жанипу посадил на арбу, в аул отправил, а вот его с собой прихватил,— кивнул он в сторону Окаса.

Мне стало приятно оттого, что папа помог Жанипе-апай, а вот что Окаса...

— Ну и мы тронемся. Солнце-то почти село,— сказал отец и тем перебил мои мысли.

На вторую арбу взобрались мы вдвоем — Кокай, Окас и я. Гнедая кобыла осталась верна себе — потянет, потянет и остановится. Лучше пешком идти. Кокай замахнется кнутом, подержит его над крупной лошади, но не ударит, а лишь слегка коснется, как бы погладит.

— Ну что с тобой делать, рыжая бестия, а?— ворчит он.— Гляди-ка, какая сейчас кроткая, смиренная. А весной-то самого вороного...

Окас сидит, свесив ноги, и хмуро смотрит на багровое солнце. Притворяется, что знать ничего не знает ни про коробку, ни про кирпич. Он не в духе. Жанипа-апай его прогнала. Сломал косу, он, видать, утомился.

¹ Айран — кислое молоко, разбавленное холодной водой.

Лежа на спине, я рассматриваю небо над головой. Теперь оно уже не такое высокое, и красные блики на нем темнеют, постепенно превращаясь в синеватые. Небо будто осело. Оно почти касается моего лица, словно я гляжу в таз с водой, где перемешаны красная и буровато-синяя краски. Летают комары и тоже, кажется, впиваются в брюхо неба. И еще какие-то мошки, мельче комаров, парят высоко-высоко — тоже пытаются своими слабыми крылышками отогнать холодные, серовато-бурые сумерки. И, насколько хватает глаз, вокруг ничто больше не движется и не шевелится, — все спокойно, тихо. Даже Окас сидит смирно. Спина от лежания не болит, лишь пятки словно чуть покалывает от прохлады. И мне хочется петь... Или стихи сочинять? А что, если вечером я их прочту маме? «Ай-ай!» — вскрикнет она и поцелует в лоб. Неудивительно, если и шоколадной конфеткой угостит. Лишь бы не «Барбарис» или «Кис-кис», которые липнут к зубам. Да кто теперь ест конфеты за два рубля килограмм? Вот «Мишка косолапый», «Тузик» — другое дело. Особенно нравится мне «Тузик». На обертке нарисован щенок с торчащими ушами и горящими глазами. Вот бы поиграть, повозиться с таким.

Ну, какие же стихи мне сочинить, о чем, чтобы удостоиться «Мишки» или «Тузика»? Я оглянулся вокруг. Верхушки трав, по которым едет наша арба, приминаются колесами, обрываются или остаются на месте, лишь слегка отпрянув от нас...

А как назвать стихотворение? В нашем классе есть братья-близнецы — Арман и Аскар. Если нас учителя называют по фамилии, то их — по имени. И всегда им ставят хорошие отметки. Арман, Аскар! Красиво, а? И коротко, и складно, и удобно произносить! Не то что «Заманбек»! Как бы я ни старался произнести свое имя одним духом — ничего не выходит! И не в моем ли непомерно длинном имени кроется причина моих троек? И стихотворение нужно назвать коротко, звучно. Например, так: «На закате», а? Нет, длинновато. А так: «Вечер»? Коротко и ясно. Итак, «Вечер, вечер...»

Вечер наступает,
Небо окрасилось кровью...

Ну, как вторая строка? Может ли небо окраситься кровью? «Смирно»-агай возразил бы: «Небо не окрашивается кровью, оно с первого дня мироздания — голубое!»

Для этого человека весь смысл жизни в коротких-прекоротких обычных словах команды: «Кругом марш!», «Игра в кошки-мышки!» Дай ему волю, так он бы всю жизнь заставлял нас играть в кошки-мышки и маршировать, маршировать.

Как только вспомнил я про «Смирно»-агая, желание сочинять пропало. Ну, стихи, до встречи! До свидания! Пока! Как раз в этот момент колеса налетели на каюй-то корень и нас здорово трянуло. Да еще жесткая былин-ка высунулась из травы, выстилавшей дно арбы, и больно щекотала мне шею. Тут уж не до стихов! В такой обстановке много не сочинишь. Сочинять стихи надо бродя по густому, дремучему лесу — как в кино. Вокруг — цветы, на деревьях соловьи расселись — поют, и трели их похожи на журчание воды... Ветер шевелит волосы. Глаза, конечно, полны слез, ресницы длинные, не то что у меня... Вот когда придет вдохновение к акыну! И стихи польются сами собой. А здесь, в Жасане, вместо поющих соловьев лишь тучи звенящих и гудящих комаров. Они садятся на шею, лицо, руки и без стыда и совести сосут твою кровь...

Мне надоело лежать, и я уселся, поджав под себя ногу. Кокай же, ничего не добившись уговорами, и вовсе перестал беспокоить гнедую. Что-то мурлыча себе под нос, он мерно покачивался из стороны в сторону. Окас не отрывал взгляда от побуревшего солнца.

— Ага!— зову я.

Кокай перестает раскачиваться.

— Ага, расскажите что-нибудь!

— Что рассказать, дорогой?

— О том, как фашисты бомбили ваши окопы. И как вы с Павловым, который ростом с копну, все это видели.

Кокай почесал голову кнутовищем. Взглянул сначала на меня, затем на Окаса. Видно, искал на наших лицах усмешку. Если бы что заподозрил — прощай рассказы.

Напустив на себя серьезность, я с равнодушным видом следил за едва приметной дорогой. Воодушевившись, Кокай сдвигает платок на макушку.

— Да-а! И продохнуть нельзя было под дождем бомб, что вылили на нас проклятые фашисты. Осколки так и свистят,— начал рассказывать старик.— С неба нас, пехоту, защищал самолет. Но вот летчика тяжело ранило осколком. Едва посадив машину, он скончался. Тут Павлов-батыр и спрашивает: «Кто знает толк в аэропланах?»

Кто сможет избавить нас от этой напасти?» Сказал, словно гром грянул. Тогда вытянулся я в струнку и отвечаю: «Я избавлю — ефрейтор Кокай Аншиков!» Дня за два, за три до этого я подробно расспрашивал летчика, как надо управлять аэропланом. Если большую железку в кабине пилота задерешь вверх — взлетишь в небо, вниз дернешь — спустишься. А ведь это были еще старые, довоенные аэропланы. Так если дед мой Бокенбай слыл батыром, мне ли бояться фашистов! Сел я и взмыл в небо. Погнался за одним аэропланом и сбил его, а тут, гляжу, снаряды-то и кончились. Ну, что делать? — нагнувшись, Кокай заглядывает нам в глаза. Не дождавшись от нас ответа, он поднимает кверху потухший окурочек. — Немецкие аэропланы отличались от наших: у них к брюху привинчено большое железное кольцо. Если пропеллер не вертится, отказывает, так немцы тащат самолет за это кольцо. Наши-то летчики об этом знают и потому всегда на крыше своей кабины имеют длинный аркан с железным крюком на конце. Да разве не по силам мне, джигиту, привыкшему укрощать жеребцов, заарканить какой-то аэроплан? Подцепил я крюком это кольцо, размахнулся и кинул фашистский аэроплан через себя, и он упал на землю, распадаясь на куски. — Проговорил это старик и с удовольствием хлестнул кнутом по воздуху. Потом продолжал: — Остальные испугались и, поджав хвосты, удрали. Командир дивизии Павлов сказал: «Ай да казах!» Он поцеловал меня в лоб, потом раскрыл сумку, чтобы повесить орден на мою грудь, но, вот досада, они у него кончились...

Кокай утер вспотевший лоб платком и дрожащей рукой погладил редкую бородку. Потом старик закурил новую папиросу и жадно затянулся. Синеватый дымок поплыл к горизонту, словно кружевном окутал лик большого, темнотного солнца. Хорошо! И наш Коке, герой Коке в этот тихий вечер рассказал для кого-то, может, и небылицу, а для меня — чистую правду...

Позабыв о нас, ища взглядом что-то на далеком кроваво-красном горизонте, Кокай вглядывался в свой, только ему ведомый, неизвестный нам мир.

Окас, до сих пор сидевший молча, неожиданно рассмеялся. Вы бы видели, как смеялся Окас! Развалившись на траве и задрав ноги к небу, он громко хохотал.

— Аркан, крюк, железка... Ой, не могу!..

Кокай сидел растерянный, удивленный.

Я сразу раскусил, над чем так потешается Окас. Будто я не знаю этого мальчишку! Его развеселила выдумка Кокая!

— Умираю, ой...— продолжал он выкрикивать.— Фашисты привинтили кольцо к своим самолетам, чтобы Аншиков мог их заарканить. Ой, так я и поверил! Так и поверил!

Окас заливается смехом, и его голос становится все тоньше и визгливей.

Плечи у Кокая опустились, рука свесилась с арбы, плетъ волочится по земле. А гнедой кобыле и дела нет до шума на арбе, она знай себе тянет, срезая острым копытом влажный дерн под ногами. Лошадка смиренно тащит нашу передвижную сцену по направлению к аулу...

Ну, ладно, пусть это было мечтой, надеждой, несбывшимися чаяниями доброго, честного сердца... Отрада всей его жизни — медаль «За отвагу». Я видел ее — Кокай надевал в День Победы. Пусть этот рассказ выражал его стремление казаться лучше, значительнее. Так зачем же неглупому в общем Окасу раздувать этот пепел, смеяться над невинной выдумкой? И кто же должен наказать противного мальчишку?

Отец мой не слышал и не видел этой сцены — вороной шел намного впереди нашей гнедой.

Кокай сидит сгорбившись — робкий и нерешительный.

А я...

Я накинулся на Окаса и принялся энергично размахивать кулаками. Вдруг нос у меня загудел, а из глаз посыпались искры. Потом волчком завертелось-закружилось все — небо, арба, солнце. Завертелось и вдруг остановилось. Оказывается, мы с криком и визгом скатились на землю. И тут снова схватились.

— Ой, да что с вами, родные мои!— вскрикнул Кокай.— Эй, Сауытбек, беги же скорее сюда!

Я очень хотел выбить Окасу его белые зубы.

Сильные руки подняли меня над землей. И тут взгляд мой упал на Кокая, который поддерживал Окаса. Губы Окаса были в крови. Кокай утирал его рот платком, гладил по голове и плаксивым, жалобным голосом причитал:

— Мой жеребеночек, сынок, дорогой...

В глазах Окаса и страх, и удивление.

Видно, трудно было Окасу понять, почему бездетный Кокай, обнимая его, сироту, ласково назвал сыном. Непонятно было Окасу и то, почему старик не рассердился, а,

наоборот, еще и сочувствует ему, зло и жестоко высмеивавшему его...

Додумать мысль я не успел. Получил увесистый подзатыльник. Отец сердито сверлил меня глазами.

Мы оба — Окас и я — громко заорали. Потом, догоняя эхо своего дурного крика, разбежались по Жасану — в разные стороны.

* * *

Я долго плакал. Окружающий меня мир оставался все тем же — мои слезы ничего не изменили. Солнце почти скрылось за камышами, и вечер уже разливает сумерки. Очень, оказывается, тоскливо быть в это время в степи одному и плакать, надрываясь. Никто тебя не видит, никто не погладит по голове. И никому нет дела — плачешь ты или нет. Всем все равно...

Я утер слезы и, утопая по колено в траве, пошел к аулу. Далеко впереди медленно тащились две арбы. На задней небольшой человек, то и дело приподнимаясь, оглядывался вокруг. Но у него не хватало смелости остановиться и подождать. Кокай!

За арбой маячит фигурка поменьше. Это сердитый, упрямый, умный и обидчивый Окас. Он и не оглядывается.

Солнце уже до подбородка погрузилось в камыши. И медленно-медленно закатывалось. Со стороны аула доносилось блеяние овец и коз, мычание коров, возвращающихся с пастбища. Слышались голоса:

— Ой, да где же теленок-то?.. Куда он запропастился?

— А мой-то бычок молока насосался!

— Эй, гони его сюда!..

Мне стало веселей. Я наступил на одуванчик. Разлетевшийся пух взмыл вверх и, казалось, расчертил солнечный диск тонкими, изящными линиями.

Я нагибаюсь, срываю самый крупный цветок и дую на него. На этот раз багровый диск скрылся за белой пеленой. Солнце в одуванчиках! Вот здорово! Об этом я и напишу стихи!.. Мне было хорошо! Но я не стал ни прыгать, ни плясать. Даже не запел громко, как прежде случалось! Я просто сильно обрадовался про себя...

ЧИКА — СЫН ДАБЫЛА

ЧИКА — НЕМЕЦ?

Вчера вечером женщины нашего аула все до единой собрались в доме Танзила, чтобы отметить шильдехану — смотрины ребенка, хотя тетушка Танзила вовсе никого и не рожала. Она привезла из города взрослого мальчишку, моего ровесника. Женщины пили чай, ели жаренную на масле пшеницу. Утром я услышал краем уха мамин шепот: «Сын-то Танзила, свет мой, ни капли не похож на мусульманина. Говорят, он из немецкой семьи», — и тут же, сунув босые ноги в старые калоши, побежал к тете Танзиле.

Посреди комнаты сидел рыжий мальчишка, веснушчатый-веснушчатый, прямо пестрый, как сорочье яйцо. Глаза прозрачные, будто льдинки. Нос прямой. Шея тонюсенькая. Ни дать ни взять, немец. Настоящий! Я скорей к Акботе рассказать. Привел Акботу, а там и другие прослышали, набежали. Даже Жумажан, и тот не выдержал, пришел. Собрались мы во дворе на солнышке, обсуждаем мальчишку, которого Танзила привезла из города. Я говорю: «Он такой рыжий-прерыжий. Даже рыжей меня. А шея тоненькая, всего с волосок». И тут он сам появился во дворе.

— Вон, вышел, — толкнула меня Акбота.

— Идом... идом, — сказал Жумажан. Он у нас самый бойкий. К ребятам на станцию бегал в другой аул. Порусски чешет без запинки. — Не баяться... Не баяться... Мы кушайте не будем.

Мальчик подошел поближе. На голове у него нове-

хонькая пилотка с красной звездой, подпоясан кожаным ремнем со сверкающей золотом пряжкой.

— Пошем?— спросил Жумажан, кивнув на пилотку. Все остальные молчат, будто в рот воды набрали.

— Не... не...

— Му-у, му,— передразнил Жумажан.— Ты что, теленок? Ну, му-у, му-у,— перешел он на казахский.

— Не продаю.

— Пырдаешь... Пырдаешь...— и Жумажан опять со значением произнес по-казахски:— Я тебе говорю, продаешь. Рубль!

— Не ори! Не буду продавать...

Мальчишка засунул руки в карманы и вызывающе встал против Жумажана.

— Э-э, да это же немец. Врезать ему надо. Это же фашист,— повернулся к нам Жумажан.— Не советский,— обратился он к мальчику.— Шистай фашист. Перед фашиса! Перед!— с этим возгласом Жумажан кинулся на противника. Я бросился мальчишке под ноги, Жумажан толкнул его, и тот опрокинулся на землю. Жумажан уселся на него верхом и принялся дубасить. Кисык тоже не остался в стороне, я же, изловчившись, пнул чужака что было силы: «На, фашист, на! Получай!»

Во двор выбежала Танзила, и мы все бросились врассыпную. Танзила, конечно, первым делом пойдет к нам и пожалуется. Мне нужно переждать, чтоб не попасть маме под горячую руку. Пусть поостынет пока. Я, пригибаясь, проскользнул на сеновал. Здесь я лежал и вспоминал, как в прошлом году погиб на фронте отец. Тогда мама раздирала в плаче лицо: «Чтоб не видать тебе добра, фашист. Будь проклят. Да придет на тебя погибель, фашист! Да сгинет все твое племя!»

МЫ СОСЕДИ

Танзила наша соседка, поэтому, как только приходит письмо от Дабыла, она спешит к нам и просит меня прочесть. И мне же приходится писать ответ.

Вечером к нам зашла Танзила. Я похолодел. Только б она не рассказала про драку.

— Рыжик, напиши дяде письмо. Соскучился небось по родным. Пусть хоть новости узнает,— сказала она приветливо.

Я перевел дух. Мигом взял ручку, начал писать. Письма всегда начинались одинаково. Не дожидаясь диктовки, я выводил: «Здравствуй, дорогой наш Дабыл! Пишет тебе твоя верная супруга Танзила. Мы все живы-здоровы, чего и тебе желаем». Дальше Танзила начала диктовать: «Да хранит тебя бог и да будет тебе опорой воинственный дух твоих предков.

В первых строках своего письма спешу сообщить, что у нас большая радость.

Сюинши¹, дорогой, сюинши.. Ты стал отцом. Сбылось твое желание. Теперь дома тебя ждут двое. Радуйся. Я съездила в детдом. И вот, сын у нас появился. Ему одиннадцать лет, ходит в четвертый класс. По-казахски говорит хорошо. Хотела было взять казаха, да подумала-подумала и решила, что так будет лучше. А вдруг завтра объявится кто-нибудь, скажет: «Мое дитя», и останемся мы проливать слезы. По этому случаю пришлось прирезать черную овцу. Документы помог получить наш однорукий дядя. Фамилию мальчику дали — Дабылов. Имя — Бахытжан. Специально так назвала — Бахытом, авось бог смилостивится — будет счастливым. В детдоме видела дочку дяди Танирали. И помнишь, у нашего кривого деда был сват? Так его сын тоже там. Бедняги... Да что поделаешь? Слова богу, государство и кормит их, и одевает — не пропадут. Так и живем, ждем тебя с нетерпением. Особенно сын ждет не дождется. Лишь бы ты вернулся живой и невредимый.

У нашей снохи Сылким три козы попали под поезд.

Торобала прислал письмо. Пишет, что будет проездом числа пятнадцатого. Хочу через него передать теплые носки, рукавицы. Масла насобирала, пришлю, хоть отъешься немного.

Пиши чаще.

Твоя супруга Танзила.
7 апреля 1943 года».

Танзила вытащила из кармана потертый треугольник письма, бережно развернула его и положила передо мной. Я надписал адрес.

¹ Сю и н ш и — подарок за хорошую весть.

МАМА ЗАПРЕТИЛА ДРАТЬСЯ

Мама сказала, чтоб я больше не дрался с Бахытжаном. Говорит, что стыдно нам драться, потому что мы соседи, да к тому же еще и родственники.

— Какой же он нам родственник, он же немец,— возразил я.— Немцы же воюют с нами? И папу тоже немцы убили.

— Нельзя так говорить. Твоего папу убили не немцы, а фашисты. Фашисты — это совсем другие немцы. Если не веришь, спроси у учителя. Он так нам объяснял на собрании. А потом Бахытжан — казах. Его папа — Дабыл, а мама — Танзила.

— Ты же сама вчера говорила, что он не похож на мусульманина.

— Когда?

— Вчера.

— Замолчи. Чтобы я больше не слышала. Он сын Дабыла.— Мама со звоном опустила медные щипцы, которыми ворошила угли. Взметнулось облачко золы.— Запомни: он сын Дабыла. Понял? Сын Дабыла.

ИДУ К УЧИТЕЛЮ

Наутро я пошел к своему учителю. Он все знает. Учитель русского языка приехал в нашу школу в прошлом году. Мы записали в дневники: «Сердалы Ахантаевич Ахантаев», но все называют его просто «мугалим» — учитель. И мы тоже зовем его так. Он не сердится. Соберет народ в клуб, читает лекции. Никто, кроме него, так не делает. А в бумажку даже не заглядывает. Все только удивляются, как много он знает. Он усадил меня на табурет и тихо стал объяснять:

— Немцы и фашисты — это не одно и то же, Ертас. Есть между ними разница. Фашисты — это те, кто воюет, чтоб отнять у других народов землю, превратить их в рабов, заставить их работать на себя, а непокорных истребить. Они готовы всю землю потопить в крови, грабить, жечь, убивать. Самый главный кровопийца — Гитлер. Мы воюем с фашистами. А немецкий народ не хочет войны. Среди немцев рождались великие люди.

Учитель рассказал мне про немецких поэтов и писателей. Еще я узнал, что среди немцев есть даже коммуни-

сты, но у них такие трудные имена, что я тут же все забыл. Но зато я понял, что не все немцы — фашисты. Учитель всегда говорит правду.

БАХЫТЖАН УМЕЕТ РАЗГОВАРИВАТЬ ПО-КАЗАХСКИ

Бахытжан, оказывается, знает казахский язык. Утром я увидел, что он сидит на солнышке, строгает деревяшку. Ножичек у него замечательный, с костяной ручкой. Сидит себе строгает. Я подошел поближе, спрашиваю его по-русски:

— Бахытжан, твоя казахский знает?

— Зна-аю,— протянул он и улыбнулся. Я прямо рот разинул. Так у него ловко получается по-казахски, да еще совсем не сердится. Видно, не обижаются за вчерашнее. Я еще несколько шагов сделал и с опаской думаю: вдруг он прикидывается; подойду ближе, а он бросится. Вообще-то, я успею убежать. Но пусть только попробует, пойду расскажу Жумажану. Нет, драться он не хочет. Подвинулся, чтоб я сел рядом.

— Вот, тачанку мастерю.

— А что это?

— Чапаев ездил на такой легкой тележке.

— Ну-ка, ну-ка...— потянулся я.

— Подожди, сейчас... Вот только колес нет.

Я сразу вспомнил, что в прошлом году закинул за печку игрушечную машину, и побежал за ней.

— Сейчас принесу.

Машина вся была помята, но колеса оказались целы. Бахытжан обрадовался.

— Здорово... Хочешь, я тебе звездочку подарю? Возьмешь?

— Возьму, конечно.

Он достал из кармана звездочку и протянул мне. Красную звезду с серпом и молотом. Пристегнуть звездочку к ушанке — то-то ребята удивятся. Сверкает — глаз не отвести. У меня сердце заколотилось от радости и благодарности. «Бахытжан не фашист, он немец», — подумал я.

ПРИШЛА ВЕСНА

В наш аул пришла весна. Глубокий снег на склонах гор растаял и бурным потоком устремился по ущельям. Мы развлекались, пуская бумажные кораблики. Все собаки из аула убежали в горы охотиться на мышей. Прыг-скок — резвятся на негнущихся ножках крохотные ягнята на выпасе. Нияз-бригадир объезжает аул на своем пегом коне и созывает народ на работу. Дети все тоже на пашне. Взрослые делают лунки, а мы разбрасываем семена. В каждую лунку отсчитываем по десять-пятнадцать зерен. Нам нравится, что мы, как взрослые, работаем. На усталость или скуку не жалуемся. Возвращаемся затемно. Детей по двое, а то и по трое подсаживают на волов. Так и возвращаемся верхом.

МАМА БУДИТ МЕНЯ

Мама разбудила меня очень рано:

— Вставай, Ертас, вставай.

Я спросонья испугался.

— А? Что?

— Ты что лежишь? Все уже ушли на дамбу. Стыд какой. Одевайся скорей. Пойдем.

Слопатами и тяпками мы пошли мимо станции к дамбе. Возле дамбы толпился народ. Здесь не только наши колхозники, пришли люди и со станции. Длинная цепочка тянется от насыпи до самого подножия гор, откуда носят дерн и землю. За дамбой, насколько хватает глаз, раскинулось безбрежное море. Водой затопило камышовые заросли. Но и насыпь растет все выше. «Не удержать. Видите, как за час поднялась», — озабоченно хмурятся взрослые. По эту сторону дамбы распаханное и засеянное поле. Если насыпь размочит, то посевы пропадут.

Я в паре с одним мальчишкой таскаю землю на носилках.

Пришла тетя Танзила с Бахытжаном,

Станционные мальчишки удивились новичку:

— Ертас, эй, Ертас! Откуда он взялся? У вас же в ауле вроде не было такого?

— Он что, татарин? — наперебой спрашивали меня мальчишки.

— Это сын тети Танзилы. Бахытжаном зовут. Она недавно ездила в город, родила вот.

Они начали потешаться.

— Да ты что, Ертас? Вот ты даешь! Разве такими большими рождаются?

Подняли меня на смех. А Жумажану только это и нужно. Сразу стал задирать.

— Да врет Ертас! Его зовут Чи...и...ка! Чи...и...ка! Это фашист — сын немца! Вы только посмотрите на его рожу!

— А...а, чтоб язык у тебя отсох! Задам я тебе трепку! Ну-ка, иди сюда. Поймайте-ка мне его!

Это тетя Танзила, бросив лопату, кинулась было к Жумажану, но он успел убежать.

С тех пор Бахытжана все стали называть Чикой.

КАК ЗАТОПИЛО НИЖНИЙ АУЛ

Утром я вышел во двор и только стал потягиваться, как на крыше соседнего дома увидел Бахытжана. Он заметил, что я смотрю на него, и нетерпеливо замахал руками: скорей, мол, сюда. Я быстренько вскарабкался по деревянной лестнице на крышу сарая.

— Смотри туда! Вон, вон!

Нижний аул затопило. С крыши все было видно как на ладони. Восемь домов вода затопила по окна. Еще немного, и затопит дом Акботы. Толстый деревянный кол во дворе их дома, к которому привязывали корову, едва виднеется. Только самая верхушка над водой.

Вот вода подобралась к пирамидке сухого кизяка. Куча легко всплыла, и по водной глади разбежались, завертелись легкие кругляши. А там плывут, как корабли, четыре корыта. По крыше дома почтальона Бостая метался пестрый щенок. Присядет, поднимет морду и взвояет, а то, жалобно повизгивая, носится кругами. Жалкий такой.

Хлопочет толпа людей на берегу: выносят вещи из затопленных домов, суетятся.

Бабушка Кунимхан забыла отвязать корову. Бедное животное хочет высвободиться, пятится назад и рвется что есть мочи.

С тяжелым уханьем рухнул дом почтальона Бостая. Взметнулся под небо столб воды. Те, кто был на берегу, громко ахнули.

Пестрый щенок, который бегал на крыше, исчез, но потом мы увидели, что он изо всех сил гребет к берегу.

На другой день мы с Бахытжаном пошли к Акботе. Затопленный дом надо было разобрать, и мы решили помочь им.

— Знаешь, Кали, старший брат Акботы, в армии. Они с мамой одни. Давай поможем им,— сказал я Бахытжану.

— Давай,— сразу согласился Бахытжан.

К дому Акботы мы брели по воде. На самом глубоком месте вода доставала нам до подбородка. Акбота обрадовалась нашему приходу.

— Мама, смотри, к нам тимуровская команда.

— Ну, молодцы. Вы, оказывается, настоящие джигиты. Теперь мы живо управимся.

Вначале мы разобрали крышу. Чика два раза провалился в яму. Как шлепнется в воду, а потом выбирается весь мокрый. Не жалуется. Мы с Акботой хохотали до упаду, а мать пугалась:

— Ты не ушибся, милый? Смотри, осторожней. Оставляй добро жалко, все может пригодиться, не то...

— Ничего. Подумаешь...

Я тоже слетел со стены. Бултых прямо в воду! Сперва напугался, а потом успокоился. В воду падать, оказывается, совсем не больно. Я даже хотел как бы невзначай снова упасть. Чтобы Акбота поглядела...

Мы увязали несколько балок вместе и потащили к берегу. Легонькие. Несутся, разрезая воду, будто корабль.

— Чика, залезай!

Бахытжан тут же забрался на плот.

— Давай,— азартно кричал он.— Точно пароход! Плыви, мой пароход! Плыви!

На балках можно было даже стоять, как на палубе корабля.

Мы еще два раза оттаскивали по воде балки к берегу. Теперь прокатали Акботу. Жумажан стоял в стороне и наблюдал за нами. «Чи...ко...о! Чи...ко...о!»— дразнил он Бахытжана. »Э...эй! Толстяк! Размазня!»— издевался он надо мной. Ему не нравится, что мы с Чикой сдружились. Сгорает от зависти.

— Молчи,— сказал я Чике.

— Ладно.

Жумажан долго кривлялся на берегу, но мы так и не отозвались. Наконец он понял, что зря старается, и ушел.

МЫ ПОСАДИЛИ ТОПОЛЯ

Чика, я и Акбота посадили три тополя. Делали мы это тайком, чтоб не узнал Жумажан. А придумала все Акбота. Нам с Чикой такое бы и в голову не пришло.

Посевы у реки затопило, и Нияз-бригадир велел пахать новый участок и посадить там дыни и арбузы. Когда ребят распределяли по звеньям, нас троих оставили на бахче. Жумажана направили в другое звено. Но мы его видели часто. Он был возницей и ездил на телеге мимо нас к просяному полю. Оно находилось далеко от аула, за горами.

Однажды Акбота предложила:

— Знаете, мальчики, давайте посадим деревья. Вернется мой брат из армии, приведем его и покажем, что мы сделали. Он может лук со стрелами потом смастерить из веток.

— А клюшку?

— И клюшку может.

— Когда деревья вырастут, не то что клюшку — телегу можно сделать.

— Давай посадим.

— Ну, пошли.

Мы попросили мою маму, и она, когда поехала в очередной раз на станцию, срезала для нас с тополя три веточки. Мы не сказали ей, зачем они нам понадобились. Вообще решили никому не рассказывать. Пусть это будет нашей тайной, не то прослышит Жумажан, живо повывергивает саженцы, наделает себе стрел.

Наутро мы прибежали на бахчу пораньше. На обочине дороги среди зарослей тростника посадили деревца. Ни одна душа их не обнаружит. Да и кто узнает о них? А чтоб никто не заподозрил, мы дали обещание даже близко не подходить к этому месту. Пусть растут.

КАЛИ ОТПРАВЛЯЕТСЯ НА ФРОНТ

Кали — брат Акботы — два месяца назад был призван в армию и проходил подготовку под Алма-Атой, а теперь он отправляется на фронт. Сегодня его поезд должен пройти через нашу станцию. Бостай-почтальон принес в дом Акботы телеграмму. Тетя Танзила приговорила Дабыла большую посылку, решила передать ее через Кали.

В ауле не осталось ни одного мальчика, все отправились на станцию в Бекбаул. Всем хотелось увидеть Кали, попрощаться с ним. Больше всех, конечно, предстоящей встрече радовалась Акбота. Она просто не могла устоять на месте.

Наконец в клубах дыма и пара прибыл поезд. Солдаты прыгивали на перрон один за другим. Было их видимо-невидимо, все в форме, и все похожи друг на друга. Мы в растерянности метались от вагона к вагону.

— Мама! Акбота!— вдруг раздался крик. Слева вдоль вагонов бежал Кали. На пилотке точь-в-точь такая же звезда, какую мне недавно подарил Чика. Самый что ни на есть настоящий солдат. Прибежал, подхватил сестренку на руки, прижал к себе. Тут подросла их мама, обняла обоих, плачет. Кали обрадованно смеется. Мы окружили их плотным кольцом, ждем, когда нас заметят. Кали каждого поднял на руки, расцеловал и только Чику не узнал.

— Ой, а это чей же?

— Это мой, Торебала. Мой Бахытжан,— ответила Танзила.

— Это...

— Да-да, тот самый. Помнишь, в ауле не было врача, и меня увезли рожать в город, а там его украла цыганка? Помнишь, как долго мы его разыскивали? Вот, нашелся... Скажи отцу, что видел его сына. И захвати это, передашь ему... хоть отведаст домашнего. Скажешь, что Бахытжан прислал. Не забудь, Бахытжаном зовут.

Танзила сунула Кали туго набитый мешочек, сшитый из пестро-синего ситчика.

— Если встречу...

— Живы будете, встретитесь. А через кого я больше передам? Отдашь из рук в руки. Вся надежда на тебя...

Кали вытащил из сумки красивую синеглазую куклу для Акботы. Мы, мальчишки, получили значки в виде парашютиков.

Какой-то солдат выбрался из толпы и протрубил в горн. Тут же на станции зазвонил медный колокол. Раздался свисток. Все солдаты бросились по вагонам. Только Кали задержался, потому что и мать, и Акбота повисли на нем с плачем, не отпускают. Весь состав дрогнул, подался назад, и поезд тронулся. Мы долго бежали вслед за вагонами.

— Возвращайтесь, дяденьки! Вернитесь живыми!

Поезд уходил все дальше. Мы уже не могли угнаться за ним. И вдруг мне захотелось громко-громко закричать-заплакать. Точно так же я бежал за вагонами, когда провожал папу. И тоже кричал: «Папа, возвращайся! Вернись живым!»

МЫ ОПЯТЬ ВСТРЕЧАЕМ ПОЕЗД

Акбота, Чика и я опять пошли встречать поезд. Утром мы собирались пойти на работу, но Акбота сказала:

— Давайте пойдем на станцию.

— Зачем?

— Вдруг Кали проедет.

— А если бригадир Нияз узнает? Сердиться же будет.

— Да он на просо уехал. Пока приедет, успеем вернуться.

Тут и Чика говорит:

— А вдруг и мой папа проедет?

— А разве ты узнаешь своего папу?

— Нет. Но он-то меня узнает. Он же видел меня маленьким. До того, как меня цыгане украли.

Мы спустились в лог и, обогнув аул стороной, по бежали на станцию. Устроились мы на вершине пригорка, чтоб никому не попадаться на глаза. Если подойдет состав с солдатами, можно будет спуститься к станции. Останавливались два поезда, но там солдат не было. Мы подождали еще, но больше поездов не было.

— Ага, попались!— раздалось вдруг неожиданно у нас за спиной.— Сбежали с работы и сидите поплевываете?

Смотрим, а это Жумажан. Выследил все-таки нас.

— Чего расселись, беглецы?

— Мы хотели посмотреть, не проедут ли солдаты.

— Солдаты вчера проезжали. Теперь не ждите. Давай на работу, па вас зовет,— соврал Жумажан. Мы промолчали.

Из ущелья Жаргантау появился товарняк. Он вез машины.

— Пять первых машин — мои! Пять — мои!— раньше нас успела выкрикнуть Акбота.

— А те, синие, мои!

— Остальные все мои,— запоздало сказал Чика.

— Врешь. Остальные будут моими,— с угрозой про-

говорил Жумажан. — Потому что это не немецкие машины. Советские.

— Я не немец. Я сын Дабыла.

— Фьюить! — презрительно свистнул Жумажан. — Кого ты обмануть хочешь? Да ты посмотри на себя в зеркало! На кого ты похож? Фашист ты и есть фашист. Ты хоть видел фашистов на картинках?

— Да это из-за того, что я у цыган долго прожил, — отчаянно вскричал Чика, оттолкнув Жумажана. Жумажан взял и пнул Чика прямо в живот. Тут я не вытерпел. Разбежался, как двинул ему головой в бок. Жумажан понял, что ему с нами двоими не справиться, побежал. Отбежал подальше, дразнит меня: «Эй, ты, размазня, предатель! — и еще пригрозил: — Вот увидите, я покажу вам всем!»

Ну и пусть дразнится. Его никто не трогал, сам напросился — зачем приставать к людям?

Он был уже далеко, когда мы спустились в лощину и отправились в аул.

БРИГАДИР ПРОВЕЛ СОБРАНИЕ

Бригадир Нияз созвал всех ребят в ауле и провел собрание.

— Ребята, вы уже взрослые. Вы сознательные граждане. Все, кто пригоден к службе, ушли на фронт. Посмотрите-ка вокруг: кто остался? «В амбаре из добра только половы мешок, во дворе из скотины только пестрый щенок, из мужчин на селе только Сайлау-сморчок», — так говорит ваш дядя Сайлау в Аранды. Из таких мужчин и я: вместо руки болтается обрубок, — он похлопал себя по пустому рукаву. — Теперь вы у нас за мужчин и работников, кроме вас, нету. Женщины и дети в ауле, ваши отцы и братья на фронте надеются на вас.

Он обвел ребят глазами. И, увидев Чика, заговорил по-русски:

— Армии хлеб надо? Надо! Пшено надо? Надо! Где пшено? Пшено у нас. Отправлять пшено надо, быстро отправлять. Вот я перед вами — старый, контужный солдат. Если живот полный, еще ка...ак воевать! — он покачал головой. — Бьешь фашист, все стреляй! Быстро война кончай! Папа, дядя живой-здоровый быстро домой. Вон оно где!

— Свет мой, твой фамилие каков?— обратился он вдруг к Чике.

Чика, вскочив с места, весело отпартовал по-казахски:

— Дабылов я, дядя бригадир!

— А-а... вот как. Знаешь, стало быть... Дабылов, вы вчера втроем с Ертасом, оказывается, сбежали с работы.

У меня мурашки по спине побежали. Наябедничал Жумажан.

— Мы не сбежали, дядя бригадир. Мы встречали поезд, чтоб отца увидеть.

— Отца увидеть?— Нияз опешил.— Если отец будет проездом, он даст телеграмму. Так что вы не болтайтесь зря на станции, понятно?

— Ладно,— ответили мы.

— Ну что, будем работать?— Он стиснул таволожную рукоять камчи.

— Будем!

— Ну, смотрите. Договорились. Сбегать с работы нельзя. Обязательно отпрашивайтесь.

На этом собрание закончилось.

ЖУМАЖАН — ВОЗНИЦА

Жумажан каждый день ездит мимо нас на арбе. Мы делаем вид, будто не замечаем его. Выпалываем как ни в чем не бывало сорняки. А он, пока не охрипнет, кричит:

— Чика...а...а! Мика...а...а! Кика...а...а!

Это он Бахытжана дразнит. Потом он принимается за меня.

— Рыжий! Размазня! Предатель! Шпио-о-он! Шпион. Жи...и...р...няк!

Если он сам не затевает драку, то мы отмалчиваемся, рвем себе сорную траву, будто ничего не слышали. Он покричит-покричит, убедится, что пронять нас невозможно, и едет прочь.

Сегодня мы еще издалека увидели Жумажана. Спрятались в арыке. Посмотрим, что он станет делать.

Он поравнялся с бахчой и затянул по привычке: «Чика-мика!» Мы притаились, молчим. Тогда Жумажан остановился.

— Акбота, тебе письмо от брата! На, возьми!— крикнул он. Мы переглянулись молча, затихли, слушаем. Он снова повторил.

— А вдруг и вправду письмо?— сказал нерешительно Чика.

Я возразил было, что письма доставляет почтальон Бостай и чужим их не отдает, но Акбота не выдержала.

— Я побегу. Вдруг действительно принес.

Она побежала к Жумажану. Мы высунулись из укрытия посмотреть, что будет дальше. Жумажан достал из кармана скомканную белую бумажку и сунул в руки Акботе. Она сразу же бросилась назад. Разворачиваем бумажку: кусок сахару. Мы решили, что не будем его есть. Бахытжан выбрался из арыка, крикнул, что нам не нужен его сахар, и, размахнувшись, кинул кусок в сторону Жумажана.

НАШ КУСТ ПАСЛЕНА

Мы втроем нашли его, этот куст. Выше бахчи тянулись густые заросли камыша. Там есть небольшая полянка. В самом центре поляны и рос пышный куст паслена. Крупные ягоды, густо облепившие куст, еще не созрели. Когда паслен поспевает, он просто тает во рту. Вкусный-превкусный. Это я первым нашел его, потом уже привел Чику и Акботу, показал им. «Знаете что? Давайте не будем показывать его Жумажану. А как ягоды созреют, соберем сами, подразним его»,— предложили они. Так и договорились. Вчера только Чика наведалься туда, доложил нам:

— Видел, стоит.

Сегодня Жумажан снова проезжал мимо нашего поля. Он встал на спину вола во весь рост и стал горланить какую-то песню. Что-то развевалось у него в руке. Пригляделись, а это пасленовый куст. Выдрал его с корнями. Обирает ягоды губами прямо с куста да на нас поглядывает. Специально, чтоб позлить. У нас внутри все закипело от возмущения.

— Да это же наш паслен!— закричала Акбота.

Жумажан будто не слышит. Выбирает спелые ягоды и лихо закидывает в рот. Я подбежал к нему.

— Жумажан, это же наш куст.

— А...а, ваш? Ну так берите,— и он швырнул куст в нашу сторону.

Даже листья еще не успели привянуть.

Ягоды, крупные и блестящие, облепили веточки. И ни одной спелой. Все зеленые. Подчистую объел.

Мы не стали его бить. Жумажан уехал с миром, распевая во все горло песню. А мы решили проверить, не выдернул ли он саженцы тополя.

Трава на берегу озера поднялась выше человеческого роста. Втроем до вечера бродили мы в поисках саженцев, но ничего не нашли. На этот раз Жумажан рассердил нас не на шутку.

— Надо наказать его как следует. Давайте выроем яму на дороге. Будет ночью ехать, колеса провалятся в яму — и вылетит он из телеги! — придумала Акбота.

Нам эта мысль ужасно понравилась. Чика сбегал за нашими тяпками, спрятанными в укромном месте. И скоро прямо посреди дороги появилась глубокая канава. Ну, теперь держись, Жумажан!

ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ

Сколько интересного случилось этим летом! А все потому, что река разлилась. Взрослые предсказывали: быть богатому урожаю. Тем, чьи дома затопило, спешно ставили временки у подножия гор. Акбота поселилась рядом с нами.

Летом работы поубавилось. За аулом без конца и без края тянулся разлив. Выйди за порог да ныряй в воду, прозрачную, чистую. У самого берега откроешь под водой глаза и увидишь, как брызнут в разные стороны стайки вспугнутых тобой мальков, да по дну медленно ползают пятятся похожие на медные пятаки плоские раки. Заплывешь на глубину — страшно. Иногда мы уходили подальше от аула, чтобы поудить рыбу. Хорошо ловилась рыба на красных червей, что мы откапывали у арыка. Отличная наживка. Бывало, насаживали на крючки обыкновенное тесто. Такую приманку рыба не брала. Мы видели, как рыбы проплывают мимо крючка, презрительно шевельнув плавниками, и, словно в насмешку, трутся о леску.

Большие ребята вплавь добирались до острова Даулетбая, собирали птичьи яйца. Но нас с собой они не брали.

«Кря...ряк, кряк», — день-деньский снуют в камышах утки. За ними тянется выводок утят. Дремлют на берегу в ожидании добычи длинноногие цапли. Днем к озеру не подобраться. Все волю в округе спасаются здесь от оводов. Ночью на озере страшно. Взрослые пугают нас водяными. Вечерами оттуда доносится жуткое уханье.

«Ауф...ф... Ауф...ф», — тяжело стонет чей-то угасающий голос. Лягушки до рассвета не знают устали, ведут между собой оживленный разговор: «Курр-курр, квак-квак».

ПОСПЕЛИ АРБУЗЫ И ДЫНИ

Поспели арбузы и дыни. Среди продолговатых полосатых дынь и ярко-желтых маленьких дынек чернеют огромные арбузы. Только нам, ребятам, не очень-то разрешают забираться в бахчу. Боятся, что мы затопчем стебли. Мы ходим вдоль грядок и подтаскиваем к куче у дороги уже сорванные арбузы. Отсюда их грузят в телеги и везут на станцию, а там отправляют на фронт. Еще мы ходим на просяное поле. Разбившись на группы, мы расходимся по участкам. Что тут делается! Ребята бьют в бубны, поднимают шум и галдеж. А над полем выются несметные полчища воробьев. Мы кричим и шумим, чтоб отпугнуть их.

ПО ДОРОГЕ ДОМОЙ

Тетя Танзила специально пригоняет на бахчу вола, чтоб подвезти нас домой. Аул далеко.

Чику, Акботу и меня тетя усаживает на вола, а сама идет пешком. Очень скоро темнеет. Мы едем, а кругом так темно, хоть глаз выколи. Тетя Танзила нам рассказывает сказку или какую-нибудь историю. Особенно нам нравится история о том, как потерялся Чика. Мы слушаем ее, затаив дыхание, и каждый раз удивляемся, что он все-таки нашелся.

Когда пришел Чике срок родиться, Дабыл сказал: «Поезжай в город, ложись в больницу». Он боялся, как бы чего не случилось. Так тетя Танзила поехала в город. Она благополучно родила сына, а ребенок вдруг исчез. Ищут, ищут — нет его. Бедная тетя пустилась в поисках своего сына по свету, ходила по горам, по долам. Где она только не побывала, а Бахытжана так и не нашла. Потом она решила, что Дабыл не переживет такого горя и не простит ей, и ушла куда глаза глядят. Стыдно и больно ей было возвращаться домой без сына. Никого не хотелось видеть. Через несколько лет разыскал ее Дабыл аж в самом Ташкенте. Он просил ее вернуться в аул: «Что же делать, сына уже не вернешь».

Однажды Танзила услышала, что в городе появился цыгане. Она решила еще раз попытать счастья. Пришла к цыганам, смотрит — ее Бахытжан у них. У Бахытжана под мышкой было родимое пятно. По нему она вмиг признала сына. Цыгане не хотели отдавать мальчика. Танзила не отступилась. Дело дошло до драки. Бедной матери пришлось обратиться в суд, чтоб вернуть своего ребенка. Придет с войны отец, взглянет только на родимое пятнышко и тут же без слов узнает Бахытжана.

НАЧАЛАСЬ УБОРКА УРОЖАЯ

Началась уборка зерна. Бригадир Нияз назначил Танзилу сторожить колхозный ток.

БОСТАЙ-ПОЧТАЛЬОН ТОРОПИТСЯ

Со станции во весь опор мчится на коне Бостай-почтальон. Он размахивает руками:

— Сюинши, сюинши!

Тетя Танзила только что пришла с работы. Услышав голос почтальона, она, переваливаясь с боку на бок, бросилась к нему навстречу. А мы уже тут как тут. Письмо! От дяди Дабыла пришло письмо. На радостный шум сбежались все соседи.

— Читай быстрее, — нетерпеливо просит мама Акбеты. — Может, он встречался с нашим Кали.

— Если письма идут, значит, жив-здоров...

— Он не пишет, когда война окончится?

— А от нашего Шернияза уже три месяца нет вестей.

— Дайте сыну, пусть сам читает.

Оживленный говор не умолкал, пока Чика не вернулся письмо. Из письма выпала фотокарточка. Дабыл снялся в форме: гимнастерка, на плечах погоны, грудь в медалях. Женщины оживились еще больше. «Бог мой, да это же Дабыл. Смотрите, ничуть не изменился. Все такой же». Они передавали фотографию из рук в руки.

Дабыл писал, что жив-здоров, воюет, что гонят немца к Берлину. Спрашивал, какие новости в ауле, не вернулся ли кто-нибудь с фронта.

— Он не видел Калижана? — с надеждой спрашивает мать Акботы.

— Нет, не пишет,— растерялся Чика.

— Бахытжан, наверное, пропустил то место. Ертас, прочти-ка ты, сынок.

Я дважды громко зачитал письмо, но в нем не было ни слова о том, что Дабыл встречал кого-то из аулчан. Женщины еще немного посудачили, а потом разошлись.

Чика взял фотографию отца и положил себе в карман.

МЫ СМОТРИМ НА ЗВЕЗДНОЕ НЕБО

Мы с Чикой лежали на току, зарывшись в необмолоченные снопы проса, и смотрели на звездное небо. Было оно похоже на опрокинутый казан, такое же черное-пречерное. Казан будто изрешечен, и в бесчисленные дырочки заглядывают звездочки, лукавят, подмигивают нам. Если выбрать одну звезду и смотреть только на нее, то она начинает дрожать, потом, размытая, тает, а то вдруг вспыхнет ярким светом: то множится, то гаснет. И кажется, что это и не звезды вовсе, не небо. Под темной водой переливаются волшебным светом драгоценные камни, и неверное их мерцание загадочно, как таинственная сказка.

Среди ночи раздавался резкий скрип сапог тети Танзиы, обходившей ток. Издалека, с той стороны озера доносились вздохи болотной лягушки: «Ау...ф...ф, а...у...ф». То и дело над головой проносились летучие мыши.

Мы с Чикой прижались друг к другу поплотнее.

— Не ворочайся, а то помнешь папину фотокарточку,— отпихивает меня Чика.

— А что ты ее дома не оставишь?

— Кто-нибудь унесет еще...

— Может, свернем твою куртку и подложим под голову?

— Давай подложим.

Мы аккуратно, чтобы не помялась фотография, сложили Чикину куртку и положили ее в изголовье. Укрылись принесенным из дома одеялом, подоткнули его со всех сторон.

Пахло травами, воздух был прохладен и чист.

Подошла тетя Танзила, стараясь не скрипеть сапогами, устроилась возле нас.

— Вы спите?— шепотом спросила она.

— Нет.
— Отдыхайте.
— Не налегай на куртку, помнешь папину фотокарточку,— предупреждает Чика.
— Да ты же потеряешь ее, сынок...
— Ну почему я должен потерять?
— Вот окончится война, вернется наш папа... Скоро прогонят наши солдаты фашистов. Папа приедет и купит тебе быстрого красавца-жеребенка. Вырастешь и будешь ездить на нем. Куда захочешь, туда и поедешь. Я сама для тебя снаряжу и седло и уздечку...

Тетя перебирает пальцами Чикины волосы. Такая большая. Нависла и заслонила все небо. Мне становится грустно, в глазах закипают слезы. Если б мой папа вернулся, он бы мне тоже купил красивого жеребенка. И у меня тоже был бы скакун.

— ...Завтра отпрошу тебя у бригадира, съездим в город. Сфотографируешься. Надо папе выслать.

Я засыпаю. Кто-то тихо и неслышно уводит меня в царство снов. Во сне я вижу, как мы с Бахытжаном устраиваем веселое состязание. Под нами пляшут резвые стригунки.

ЧИКА ЕДЕТ В ГОРОД

Чика поехал со своей мамой в город фотографироваться. Когда я был на окраине аула, в горах мелькнул и исчез скорый поезд с нарядными синими вагонами. «Наверное, Чика едет в нем и видит нас»,— подумал я. Я махал рукой, подкидывая вверх шапку, и кричал:

— Чика...ааа! Чика...а...а!

ОСЕНЬ НАСТУПИЛА

Наступила осень. Поредели, скрючились сухие стебли арбузов и дынь. Закончилась жатва. На току горы необмолоченного зерна. Во двory колхозники свозят пересохшие кукурузные стебли.

Нам уже не разрешают купаться в реке. Отпарили цыпки на руках и ногах, заставили обуться, достали из сундуков теплую одежду. Пора в школу.

Жумажан остался в пятом классе на второй год. Учитель посадил его за последней партой. Он сидит за партой один, потому что с ним никто не хочет садиться. То и дело на уроке мокрый тугой бумажный шарик щелкает меня или по затылку, или в ухо. Это Жумажан стреляет. Больше некому. Если учитель замечает его проделки, Жумажан прикидывается, что он тут ни при чем. Стоит учителю отвернуться к доске, как он тут же принимается за свое.

Жумажан такой здоровый, а совсем ничего не знает. Вчера учительница географии вызвала его к доске, и мы, слушая его ответ, чуть животы не надорвали от смеха.

— Вулканами называются... вулканы в горах бывают. Вначале с вершины... с вершины горы... Да, с вершины горы идет дым... идет дым... Как из печки, клубами идет дым. Потом изнутри вылетают красные-красные кипящие камни. Они прыгают-прыгают вверх, прямо в небо. Летят под небеса, а потом падают на землю. Пстом горячие камни катятся вниз... катятся вниз... докатываются до нашего камышитового сарая. Потом наш сарай загорается. Когда сарай загорается, запертые внутри козы и овцы блеют... блеют. Вот что такое вулкан.

Мы все покатываемся со смеху, а Жумажану хоть бы что. Учительница спрашивает его: «Ты хоть заглядывал в учебник?» Жумажан смотрит ей прямо в глаза и спокойно заявляет: «Я учил».

ТАНЗИЛА ПЛАЧЕТ

Тетя Танзила немного поплакала. Они получили письмо от Дабыла, где он писал, что фотографию Чики получил и сразу его узнал. Еще он сообщил, что сейчас он ранен и лежит в госпитале. Просил не беспокоиться. Главное, он все-таки жив и уже выздоравливает. «Что ты расстраиваешься,— успокаивала ее мама.— Он ведь жив и вернется, вернется. А у нас даже надежды не осталось. Ну перестань, не плачь. Возьми себя в руки. Оглянуться не успеешь, как придет Дабыл».

Танзила утирала свободным концом платка слезы и вздыхала: «Хорошо, хоть жив остался. Как-то он там один, больной?» Женщинам еле удалось ее успокоить.

Чика не плакал, молчал. С тех пор как начались занятия, он нам хвалился, что его папа привезет ему настоящий кожаный портфель с блестящей металлической застежкой. Теперь он перестал хвалиться. Ходил поникший и грустный.

ЧИКА ЗНАЕТ ПО-РУССКИ

Оказалось, что Чика и по-русски говорит хорошо. Когда он отвечает учителю, у него прямо от зубов отскакивает. И задачи он решает прекрасно. Только вот по казахскому языку двойку схватил. Видно было, что она его сильно расстроила.

Рядом с Чикой учитель посадил Акботу, чтобы она помогала ему по казахскому языку. «Готовьтесь к урокам вместе»,— сказал он им. С этого и началось. Жумажан будто взбесился. «Если будешь сидеть с Акботой,— пригрозил он Чике,— то напущу в твою парту змей». Но Чике тоже не запугать. Жумажан однажды воткнул перо в сиденье, но Чика вовремя заметил, взял и молча отнес ему перо.

Вчера на уроке географии Акбота вдруг как закричит. Мы все страшно напугались. Посмотрели, а в парте лежит мертвая змея. Ребята все сразу подумали, что это Жумажан подложил. А он посмеивается:

— Это не я, апай, не я.

— Выйди из класса. Уходи. Приведешь родителей, иначе ко мне на уроки не являйся.

Жумажан, выходя из класса, ухмыльнулся и подмигнул мне.

ЖУМАЖАН ОТВЕЧАЕТ УРОК

Жумажан, если его вызывают к доске отвечать, никогда не скажет, что он не готов. Выходит к доске и несет какую-нибудь чепуху. С географии он обычно уходит, а все другие уроки посещает исправно.

Сегодня его вызывали на уроке казахского языка. На дом задавали учить правила о распространенных и нераспространенных предложениях.

— Нераспространенными предложениями называются... нераспространенными мы называем... Если язык,

когда мы произносим предложение, не распространяется, а остается узким, как змеинное жало, то такие предложения нераспространенные.

Мы просто покатались со смеху, легли на парты. Учительница смеялась так, что у нее слезы из глаз полились градом.

— Ну, а что ты скажешь о распространенных?

— Когда произносишь распространенное предложение, то язык распространяется, как простыня. Такие предложения мы называем распространенными.

«ЧЕРНАЯ БУМАГА»

Чика отозвал меня в сторону и шепотом сообщил:

— К Акботе пришла «черная бумага». Нияза-бригадира сейчас председатель увел с собой.

Я похолодел от ужаса. «Черная бумага» приходит, если кто-то погибает на фронте. Мама заметила, что мы шепчемся, и загнала нас в комнату:

— Сидите тихо и носа не высовывайте. Не вашего ума это дело.

Мы оба прильнули к окну. Председатель аулсовета, бригадир Нияз, почтальон Бостай и кто-то из стариков, живущих на станции, гуськом заходили в дом к Акботе. Через некоторое время туда прошли моя мама с тетей Танзилой.

Больше мы не могли выдержать, вышли на улицу. К дому Акботы со всех сторон стекались люди. Шли и голосили старухи. Они подходили и обнимали маму Акботы и плакали вместе с ней. На растрепанную маму Акботы страшно смотреть. Сидит, раскачиваясь, а слезы все текут и текут.

— Кали... сынок... единственный мой...

На кого же ты нас оставил,

Сирот своих несчастных!

Несмышлениш мой... ушел из жизни...

Акбота забилась в угол, лежит, сжавшись в комок, всхлипывает, бьется в плаче. «Брат... брат-тик мой». Я пробрался через толпу и тихо выскользнул на улицу. В горле будто ком застрял. Я убежал в сарай и долго плакал. Мне не верилось, что Кали погиб. Мы совсем недавно провожали его на фронт. Он был молодым, добрым и сильным. Был бы у меня автомат, я бы всех фашистов перестрелял.

Только разве пустят меня на фронт? Нет, не пустят. Так я лежал, пока меня не разыскал Чика. Глаза у него тоже распухли и покраснели.

УЧИТЕЛЬ ВЫГНАЛ ЖУМАЖАНА

Сегодня учитель вызвал к доске Жумажана. Жумажан, даже не дожидаясь вопроса, понес что-то невразумительное, что никому не понять.

— Именгительный Маша... Маша, именгит... туаритель, нет... нет, предложный, предложный Маша, пр...пр... предложный Машам...

— Не торопись,— говорит учитель.

Жумажан продолжает частить.

— Подумай сначала.

Но Жумажан даже не слушает, бормочет что-то бесвязное.

— Ладно, садись. Единица. Надо быть внимательным, и к урокам нужно готовиться, Ниязов. Бери пример с Дабылова. Смотри, как он хорошо учится. Из твоего ответа ничего понять невозможно. Да ты и сам вряд ли понимаешь, что говоришь.

— Агай, Дабылов же немец. А немцы и русские похожи. Потому он и знает язык.

— Кто это тебе сказал?— рассердился учитель. Но Жумажан не смутился.

— Его тетя Танзила привезла из детдома и...

— Вон! Вон, негодник! Выйди из класса. И чтоб без отца не приходил! Слышишь? Иди, тебе говорят, выйди!

Учитель не смог сдержаться и вытолкнул Жумажана за дверь.

НАСТУПИЛА ЗИМА

Наступила зима. Мама достала из сундука подбитые войлоком старые отцовские сапоги. Мою потрепанную ушанку она подновила, обрезала полу шинели и этим куском сукна обшила верх.

Снег еще не выпал, но стоят сильные морозы. Тоненько поют камышинки на крыше сарая, посвистывают, воют и гудят печные трубы. Два дня особенно холодно. Мороз разрисовал окна диковинными листьями, причудливыми

узорами. Дым из печной трубы над крышей соседнего дома уходит прямо вверх.

Вернулась с озера мама с двумя ведрами воды. Она сказала, что озеро прихватило льдом. Я тут же натянул сапоги и помчался к Чике.

Вся поверхность озера была покрыта гладким синим льдом. Потихоньку попробовали — не грежит. Попрыгали — хоть бы что. Тогда мы притащили увесистый камень. «Дзинь, дзинь, дзинь», — зазвенел по тверди камень. Мы легли на живот и увидели под толщей льда и воды крупный зернистый песок и длинные водоросли. Стайка мелких рыбешек, напугавшись наших теней, суетливо заметалась и уплыла скорей.

МЫ ВЫШЛИ НА ЛЕД

Все ребята в ауле вышли на лед. У Жумажана оказались настоящие «снегурочки». Креплений у него не было, но он приладил коньки веревочками. Носится, разрезая коньками лед, нам с Чикой на зависть. Нарочно разъезжает перед нашим носом. У нас коньков нет. У каждого в руках по самодельной клюшке. Вместо шайбы голяем пустую консервную банку.

Огромное пространство замерзшего озера. Синеватый лед, прозрачный как вода. Это была наша единственная зимняя забава.

БОСТАЙ РАССКАЗЫВАЕТ О ЧУДЕ

У нашей калитки стоит Бостай-почтальон.

— ...Смотрю я и думаю — что за чудеса! — рассказывает он маме. — Прямо среди густых зарослей камыша стоят три белоснежных тополя. Я-то вышел поискать овечку, не вернулась она с выпаса. Не приведи бог, думаю, задерут еще волки. Ну и набрел на них. Это там, за бахчой. И поверишь ли, я не посмел даже прикоснуться к ним. На все воля господа бога. А вдруг окажутся священными... Поднялись уже, высоконькие... Ну вот с человеческого роста и будут.

— Это наши! — вскричал я. — Это наши тополя!

Бостай вздрогнул от неожиданности.

— Когда же вы их посадили? — удивилась мама.

— Летом. Когда ты со станции нам веточки приносила.
С этой вестью мы с Чикой побежали к Акботе.

— Зачем мне они теперь?— безразлично сказала Акбота.— Что я буду с ними делать? Если б Қали был жив..

Мы отправились вдоль берега по льду к прошлогодней бахче. Акботы с нами не было. Мы долго блуждали в поисках тополей. Наконец среди густых зарослей камыша увидели три маленьких тополя. Стволы белые, а листья уже облетела. Те самые, что мы посадили. Удивительно.

— Пока папа придет, как раз зазеленеют, покроются листвою.

— Вырастут большие-пребольшие. Издалека их будет видно.

— Конечно, вырастут, так издали их увидишь.

— Вот здорово. А знаешь, что это значит? Это значит, что дядя Дабыл останется жив и вернется.

— Давай закопаем корни, а то вдруг померзнут.

Мы утопали кругом камыш чтобы укрыть корни тополей. Летом на берегу озера раскинут зеленые ветви три серебристых тополя. И все буду говорить, что это тополя Акботы, Чики и Ертаса. Вернется с фронта дядя Дабыл, будет ему чем гордиться.

БОСТАЙ ПРИНОСИТ РАДОСТНУЮ ВЕСТЬ

— Сюинши, Танзила! Поздравляю! Муж твой вернулся с фронта! Муж! Только что сошел с поезда на станции. Вот чемоданы,— кричит у дверей Бостай-почтальон.

На лошадь навьючены два фанерных чемодана. От нетерпения Бостай дергает за повод лошадь.

— Да выходи же, баба, скорей!

Тетя Танзила выскочила в одном платье.

— Да неужто?! Слава богу... Неужели это правда?

— Э...э, милая. Что же я с седой головой шутить буду? Иди скорей. Муж твой идет.

— Бахытжан! А, Бахытжан! О солнышко мое, папа твой едет!

Из дома выскочил Чика. Они с матерью помчались к станции. Бостай-почтальон снял чемоданы и занес их домой. Я побежал за Чикой. Тетя Танзила очень скоро отстала, а Чика неся так, что и мне за ним не угнаться. Показался дядя Дабыл. Он был уже недалеко. В серой

шинели, на голове голубоватая ушанка с красноармейской звездочкой, прихрамывает на правую ногу.

— Папа! Па...а...па...а!— кинулся Бахытжан на шею Дабыла. Отец подхватил его на руки, прижал к себе, постоял так и опустился на обочину. Он не отпускал сына, целовал его в лоб, в щеки.

— Родной мой, единственный...

По лицу струились слезы. Лоб был покрыт каплями пота.

Тетя Танзила бежала к ним, хватаясь руками за сердце. Запыхавшись, она повисла на муже. Мы все плакали от радости. Весь аул вышел навстречу Дабылу.

— Узнал своего сына?

— А как же? С первого взгляда. Он же как две капли воды похож на меня. Это же папин сын!

Дом был полон гостей. Среди радостного гула вдруг заплакала Акбота: «Брат мой, братик родной». Она плакала так горько, что все, кто был, не могли удержаться от слез. Потом бабушка увела Акботу домой.

Танзила зарезала свою единственную корову. Приглашать гостей в Бекбаул отправили Бостая-почтальона.

ПОЛЕ ДЕТСТВА

Бригадир Айбол подъехал вплотную к юрте и, натянув повод, крикнул:

— Эй, Киясжан!

Кияс поднял голову, потер тыльной стороной ладони глаза и глянул сквозь решетчатый остов юрты наружу — боковые кошмы были повернуты, и мальчик увидел рядом сбитые копыта айболовского коня. Не проснувшись окончательно, он подумал, что хорошо бы вздремнуть еще минуту, но бригадир снова позвал его:

— Киясжан, вставай! Надо поскорее пустить воду на участок, а то ведь склюют вороны семена, которые мы вчера посеяли.

Кияс поднялся и сел.

— Торжан, милочка, как поживаешь?— теперь уже обращаясь к хозяйке, заговорил Айбол.

— Слава богу, вроде полегче стало, дорогой деверь,— отозвалась Торжан со своей постели. Она, охнув, перевалилась на бок и стала подниматься.

— Вот и хорошо, милая. Сейчас ведь и похворать-то некогда — видишь, что кругом творится. Работники все на фронте. С севом кончать давно пора, а как с ним теперь управиться? Вот и вертись как хочешь... Ты хоть встаешь там?!

— Встаю...

Бригадир хлестнул плеткой коня и погнал его рысцой к следующей юрте.

Кияс, уперевшись каблуком в порог, натягивал стальной, пошитый когда-то аульным умельцем сапог. Сапог

был тесноват и с трудом налезал на ногу даже при тонкой портянке.

Покончив с приготовлениями, мальчик уже хотел было попрощаться и выйти из юрты, но промолчал, увидев слезы в глазах больной матери.

— Ступай, сынок,— сказала она,— не забудь коже и хлеб...

Лепешка, с вечера приготовленная матерью, лежала, как обычно, на низком круглом столике. Кияс взял ее, подхватил у порога желтую баклажку с заквашенным рисовым отваром и, прежде чем выйти, оглянулся — мать все так же смотрела на него, а младший братишка Саут сладко спал, смешно запрокинув голову.

Солнце еще не взошло. В гулком предутреннем воздухе слышалось мычание коров и первое, робкое пока, щебетанье воробьев.

Кияс потянул за веревку и сдвинул кошму, которая прикрывала тундик¹. Потом опустил боковые кошмы с южной стороны так, чтобы солнечные лучи не проникали в юрту. «Надо поторапливаться, пока солнце не встало»,— подумал он, взял кетмень и, вскинув его на плечо, зашагал в сторону полей.

К тому времени, когда мальчик дошел до участка, засеянного просом, солнце уже выглянуло из-за горизонта — розоватый отсвет утренней зари таял над вспаханной землей.

Первым делом Кияс закопал баклажку по самое горлышко в холодный ил на берегу арыка — так учил его отец. Потом взял кетмень и остановился возле аккуратно поделенных небольшими насыпями чеков. Месяц назад бригадир прошел этот участок с землемерным циркулем. Кияс слышал тогда, как Айбол, прикинув что-то в уме, буркнул: «Шесть гектаров...» Столько же земли и в прежние годы колхоз выделял под просо на их семью. Но тогда в поле они выходили с отцом, а в страдные дни к ним присоединялась и мать. Теперь отец на фронте, а мать почти не встает с постели. Кияс подумал обо всем этом, и ему стало грустно.

Начинать следовало от верхнего края участка, а потом гнать воду дальше, к нижним чекам.

¹ Тундик — верхнее отверстие в куполе юрты.

Мальчик пошел к головному арыку, к тому месту, где от него отходил арык поменьше. Перемычка была аккуратно сложена из кусков дерна. Кияс убрал с краю несколько кусков, чтобы отводной арык наполнялся лишь наполовину. Мутная струя весело устремилась по сухому руслу. Кияс с кетменем на плече берегом пошел вслед за ней и вспоминал, как в прошлом году они вместе с отцом вот так же поливали просяной участок. Отец, прежде чем браться за работу, всегда сбрасывал верхнюю одежду и, оставшись в исподнем, закатывал до колен белые подштанники, засучивал рукава. «Знай, сынок,— говорил он,— первый полив — самый трудный и самый ответственный. Если землю не напоить сполна сразу после сева — хорошего урожая не жди». Кияс старался быть хорошим помощником, и когда насыпи между чеками прорывало то на одном конце участка, то на другом, он вскидывал на плечо свой маленький детский кетмень и бежал со всех ног туда, куда указывал отец. Работы во время первого полива хватало, случалось, что оба они выматывались до изнеможения. Отец в таких случаях утешал сына: «Ничего, малыш, на то мы с тобой и дехкане, ленивому-то человеку земля и зернышка не даст! — и повторял: — Это только первый полив такой, а дальше полегче будет, вода сама укрепит чеки».

Помимо полива с просом бывает много других хлопот. Когда урожай начнет поспевать, его надо оберегать от воробьев. Вот тогда-то и начинается настоящая беготня. Дело это обычно поручают аульным ребятам. Целыми днями дети носятся по полю, колотя палками в жестяные ведра и криком отпугивая стаи птиц. До начала жатвы мальчишки успевают охрипнуть от этой работы.

И все же отпугивать воробьев куда веселее, чем поливать участок. Рано утром, еще до света, ребяташки собираются и веселой ватагой бегут на поле, рассыпаются по нему во все стороны и поднимают такой шум, что за десять верст слышать.

В полдень воробьи улетают к реке, тогда и у ребят передышка наступает. Они затевают игры — носятся в догонялки вдоль арыков, а иногда прячутся друг от друга в поле. Правда, взрослым это не нравится. Взрослые ругаться начинают: мол, просо потравите, негодники эта-

кие! Однажды после такой игры в прятки отец взбучку устроил и Киясу.

Иногда ребята усаживаются кружком где-нибудь в тени, под кустом лоха, и едят арбузы, а потом соревнуются — кто дальше всех закинет арбузную корку.

Бывало у мальчишек в ту пору и еще одно развлечение — погоня за самыми хитрыми воробьями, теми, что забиваются в гущу проса и ни в какую не хотят взлетать.

После обеда стаи серых пичуг возвращаются с реки, и снова поднимаются над полями грохот и крики.

Под вечер, когда воробьи наконец оставляют посевы в покое, ребята спешат в аул. Часто бегут наперегонки, норовят сбить один другого с ног, устраивают свалки прямо в дорожной пыли. Посмотреть со стороны — будто и не было у них позади долгих часов изнуряющей беготни под жарким августовским солнцем.

Обычно аульные дети охраняли просяные поля не долгое время, но случалось и так, что жатва оттягивалась на несколько недель из-за того, что районная МТС не подавала в срок жатки, и тогда это вроде бы веселое занятие становилось в тягость. Худющие и почерневшие от загара мальчишки уже без всякой охоты плелись по утрам на поле...

* *

Кияс терпеливо дождался, пока вода заполнит первый чек, потом открыл перемышку, пустил ее на соседний, и так до самого конца ряда. Только после того как вода подошла к краю участка, он поочередно перекрыл все канавки. Мальчик работал уверенно, без суеты, без лишней спешки. Четкими, отработанными ударами кетменя укреплял где надо насыпь. Пока все шло хорошо, и Кияс даже подумал, что сможет управиться с поливом к вечеру. Однако постоянно помнил, что первый полив редко проходит гладко, и потому все время был настороже, к тому же участок разбит на новом месте, земля здесь рыхлая. Отец за месяц до того как ушел на фронт, сам расчистил пустырь от кустов и коряг, соорудил чеки. «Бог даст, уродится в этом году просо на славу!» — сказал он, оглядев уже окончательно подготовленную к севу землю.

Когда второй ряд чеков был заполнен водой, Кияс заметил, что насыпи из рыхлой земли стали набухать и кое-где уже норовили прорваться. Уклон от верхних чеков к нижним здесь довольно большой, и если воду не удержат, она через полчаса размочит весь ряд. Беспокоил Кияса поливной арык, по нему еще ни разу не прогоняли воду. Мальчик слышал, как отец перед отъездом предупредил бригадира: «Аксакал, сдается мне, что перемычка в конце поливного арыка слабовата, боюсь, при сильном напоре может не устоять. Вы уж присмотрите...»

Отец Кияса — Каипбек — был опытным дехканином. От прочих мужчин аула он отличался огромным ростом и богатырским телосложением. И характера был — богатырского, мнение свое высказывал коротко — в двух словах, но с мнением этим люди считались.

После начала войны Каипбека целый год никуда не вызывали. Аулчане расценивали это по-разному. В основном держались двух предположений. Одни считали, что начальству жаль отпускать Каипбека, ведь здесь, в колхозе, он пятерых стоит, а в бою, недаром говорят, на любого батыра одной пули достаточно. Другие — это были все больше старики — уверяли, что на войне отборных джигитов берегут до той поры, пока обе стороны не расстреляют все патроны, вот тогда-то и идут сражаться врукопашную силачи вроде Каипбека...

А самому Каипбеку до этих разговоров не было дела. Он, как и прежде, не расставался с кетменем и думал лишь об одном — как бы вырастить просо.

Этой весной подготовил себе новый участок на целине — расчистил землю, подвел арык, сделал чеки. Оставалось только разровнять их граблями и посеять, но до этого у Каипбека руки уже не дошли. Приехал председатель, вручил ему повестку, и они вместе отправились в район.

На следующий день Каипбек вернулся и начал прощаться с аулом. По этому случаю люди даже оставили работу, хотя забот весной у всех было по горло.

Торжан, которая и раньше частенько хворала, прошедшей зимой совсем слегла и теперь почти не вставала с постели. Узнав, что мужа забирают на фронт, она стала плакать и причитать. Люди утешали ее как могли.

В полдень подвода, в которой уже сидели призывни-

ки из соседнего колхоза, остановилась возле старой четырехкрылой юрты Каипбека.

Весь аул пришел проводить на войну еще одного своего джигита. В толпе, опираясь на палку, медленно шла и Торжан.

Возле развилки взрослые опять принялись по очереди прощаться с призывниками, а когда возница подхлестнул лошадей, мальчишки гурьбой бросились за подводой. Кияс бежал впереди всех, за ним попевал Саут. Скоро другие мальчишки начали отставать по одному. Каипбек сидел посредине подводы, возвышаясь между другими, он сдвинул на самые брови новую шапку, подбитую черным бархатом, и смотрел на своих сыновей.

Теперь и Саут уже не успевал за старшим братом, а Кияс все бежал, пока не обессилел и не упал на землю. Он плакал в голос, даже не стараясь себя сдерживать...

Через некоторое время к нему подошел Саут и сел рядом. Малыш долго не мог понять, что происходит с братом, потом сам вдруг заплакал. Когда Кияс поднял голову и посмотрел на дорогу, подвода была уже далеко, она уменьшалась на глазах, превращаясь в серую дрожашую точку.

Взявшись за руки, братья пошли в аул. Когда оба перестали всхлипывать, Саут утер ладошкой слезы — на щеках у него остались грязные разводы, — повернулся к старшему брату и тихо спросил:

— Ты почему сейчас плакал?

— Потому что отец уехал, — не глядя на него, про бурчал Кияс. — А ты чего ревел?

— А я... увидел, что ты плачешь, и тоже...

До самого дома они больше ни о чем не говорили.

Через неделю пришло письмо от Каипбека. Он писал, что едет в эшелоне и что по обе стороны железной дороги густой лес. Кияс бойко прочитал письмо соседским старикам, потом небольшой исписанный листок бумаги стал ходить по рукам, и все в ауле, кто владел грамотой, успели прочесть его. Когда письмо наконец возвратили Торжан, она бережно завернула его в большой белый платок и спрятала.

Так бывало в ауле с каждым письмом, которое приходило с фронта.

...Кияс не заметил, что вода успела заполнить еще два чека. Мальчик быстро перекрыл канавки и пустил воду на следующий ряд. До сих пор явных причин к беспокойству не было, правда, один раз вода прорвала насыпь в первом ряду, но Кияс вовремя это заметил и успел закидать промоину землей, потом утоптал перемычку ногами.

Солнце поднялось еще выше и припекало все сильнее. Кияс сдвинул тубетейку на затылок, пошире распахнул ворот рубахи. Мальчик смотрел, как мутная арычная вода постепенно заполняет ровные квадраты чеков, и ему стало даже как-то приятно, что он один сейчас управляет с поливом на таком участке.

А жара усиливалась. Кияс почувствовал, что в горле у него пересохло. Он вспомнил про желтую баклажку с коже и пошел к головному арыку, но, уходя с участка, не забыл перекрыть все канавки между чеками.

В летний день ничто так не снимает усталость, как несколько глотков коже. Кияс вырвал баклажку из ила, ополоснул ее снаружи и начал пить. Потом, аккуратно обвязав горлышко тряпицей, снова погрузил баклажку в холодный ил. Мальчик собирался уже подняться и тут услышал свистящее журчание воды. «Прорвало где-то!» — подумал он и кинулся к участку. Пробегая вдоль поливного арыка, Кияс осматривал все чеки подряд.

Промоина образовалась в том месте, где он несколько минут назад перекрыл канавку. Кияс кое-как сбросил на ходу тесные сапоги, задрал штаны выше колен и полез прямо в воду. Увязая в липком месиве, пробрался к верхнему краю чека — там, на краю насыпи, лежала куча сложенных друг на друга пластов дерна. Минута ушла на то, чтобы побросать их в промоину. Потом он выбрался из воды и стал кидать кетменем землю. «Вся вода ушла с чека!» — с досадой думал Кияс и, разозлившись неизвестно на кого, изо всех сил налегал на кетмень. При каждом ударе лезвие входило по самый черенок.

Промоина хотя и была широкая, но образовалась она не в самой высокой части насыпи. Закидать ее удалось сравнительно быстро. Кияс передохнул минуту, потом подбросил на верх перемычки еще немного земли, хорошенько утоптал ее. Только сейчас мальчик почувствовал,

как противно липнет к телу промокшая насквозь грязная одежда.

На этом краю участка все вроде бы было в порядке, но Кияс почему-то медлил уходить отсюда, он еще раз напоследок тщательно осмотрел насыпь, даже обстукал ее кое-где кетменем. И тут, случайно бросив взгляд на соседний чек, заметил в стороне темную лужицу. Откуда бы ей там взяться? Кияс пробежал глазами по насыпи — прорыва нет, а если бы он и был, то тогда лужу с чеком должен соединять ручеек. Но и ручейка тоже не видать. Мальчик внимательней взгляделся в поверхность заполненного водой чека и увидел воронку. Он снова полез в воду, пробрался к воронке и когда ступил прямо в нее, нога провалилась. Чувствовалось даже, что ее засасывает. Так оно и есть — нора. Отец и раньше рассказывал, бывало, что если участок разбивают на целине, первый год часто встречаются такие вот сурчинные норы и скрытые ямы. Кияс выбрался из воды и начал собирать куски дерна — без них здесь не обойдешься. Набрав целую охапку, забил ими воронку и только после того, еле передвигая ноги, вышел на сухое место.

На краю участка он подобрал сапоги, хотел было обуться, да, посмотрев на грязные, облепленные глиной ноги, махнул рукой. Опять вспомнилась отцовская привычка — прежде чем браться за полив, тот разувался и закатывал штаны. Теперь, пожалуй, и Кияс будет делать так же.

Через некоторое время мальчик увидел, что со стороны дороги к его участку едет рысцой на своем коньке бригадир Айбол.

В ауле Айбола считали опытным дехканином. Когда все мужчины ушли на фронт, его назначили бригадиром, хотя старик при этом долго отказывался.

— Что, Киясжан, милок, трудно дается новый участок? — издалека заговорил Айбол. — Ничего не поде-лаешь, так оно всегда и бывает. Но ты ведь не зря вместе с Каипбеком с малых лет на поле пропадал, поди, многому у него научился... Такая уж пора теперь, кроме как на вас, и надеяться-то больше не на кого. Кто сейчас из мужчин в ауле остался? Нету никого... — Айбол достал из кармана платок. — Ничего, малыш, управишься как-нибудь с этим поливом, а там все полегче будет... Видит бог, должно нынче просо уродиться. А это самое главное, остальное ничего — перетерпим.

Кияс молча слушал старого бригадира.

— Я сейчас с дальних участков еду. Они там тоже поливают, со вчерашнего дня. Председатель приезжал, топропит, говорит, что скоро отправят всех вас на сенокос. От Каипбека писем не было?

Кияс покачал головой.

— Получите еще... бог даст, получите. А пока так и будем, сынок, сами управляться.

Айбол подхлестнул коня и той же рысцой поехал в сторону аула. Кияс смотрел ему вслед, пока старик не скрылся за бугром. Потом достал лепешку, отломил от нее кусок и начал жевать, запивая кожей.

* * *

Недавно Киясу исполнилось четырнадцать лет, но оттого что выглядел он покрепче многих своих сверстников, его часто принимали за шестнадцатилетнего парня. Нравом Кияс пошел в отца, такой же спокойный с виду, даже медлительный. Как и все аульные мальчишки, он был привычен к крестьянскому труду, с малых лет учился со всяким делом управляться не спеша и основательно. Годом к десяти Кияс нес свою, и уже довольно ощутимую, долю домашних хлопот: выводил на луг корову, косил серпом клевер, присматривал за овцами и телятами. Три года назад Каипбек начал брать старшего сына с собой в поле. С маленьким, специально для него подобранным кетменем Кияс вышагивал следом за отцом по просяным полям, вдоль арыков, по бахчевым грядкам. Соседи, глядя на них, толковали, дескать, вот и еще один работник подрастает.

Дружбу Кияс водил с подростками постарше себя. Но держался в компании товарищей скромно, старался быть незаметным. И, в отличие от некоторых, даже в шутку не заводил драки. Может, оттого, что сам Кияс был неразговорчив, любил он послушать других, особенно, если рассказывать принимался Саян.

* * *

Весной перед самым началом войны мальчишки собирались обычно на лугу. В это время аульный скот не выводили стадом на пастбище — пасли на привязи, ведь если все стадо вдруг кинется пожирать молодые побеги

проса, никакой пастух с ним не справится. Вот и посылали от каждого двора по мальчугану на луг, где привязывали к колышкам скотину.

Скучать мальчишкам там не приходилось — Саян с утра до ночи потчевал их своими бесконечными историями. Рассказывал он их, конечно, мастерски. Слушаешь, бывало, и не верится, а поди, усомнись вслух — другие же ребята тебе слова сказать не дадут, молчи, мол, не мешай!

Саян — единственный из всех аульных подростков ездил в районный центр продавать дыни. И все самые невероятные приключения происходили с ним именно в такие вот поездки. Не базаре он был якобы первым торговцем, раньше всех успевал сбыть весь свой товар, включая и гнилые дыни. В конце дня денег у Саяна набиралось столько, что они уже и в карманах не умещались — приходилось пихать их за пазуху. Тогда он шел прямо в сельмаг, где покупал себе красную водичу, про которую аульные мальчишки знали только понаслышке.

Неудивительно, что после таких рассказов ребята только и мечтали о том, как бы тоже съездить на базар.

Послушать Саяна — все аульные девицы сохнут по нему. А молодуха Нурсауле в последнюю поездку в районный центр всю дорогу липла к бедному парню, будто бы настойчиво лезла целоваться.

— Продам я как-то раз свои дыни, набил карманы деньгами и иду себе вразвалочку с базара, — начал однажды Саян. — Там, на краю села, есть мазанки заброшенные. Так вот, прохожу я мимо них и вдруг слышу — свистит кто-то. Ах, думаю, пересвистывается шпана, ну и пускай себе пересвистывается на здоровье, мне-то, слава богу, бояться нечего. Вдруг из-за угла вываливают — пять человек. Останавливаются и кричат, гони, мол, денежки, мы видели, как ты, малый, дыни на базаре продавал! Я, конечно, не испугался — бросаю мешок и изгибаюсь к драке. Первым ко мне подлетел длинный такой, рыжий. Я для виду шаг назад, а потом подпрыгнул и с лета его ногой!.. Сапоги мне дядька Бальдибай сшил, каблуки на них сами видели какие... Короче говоря, рухнул на землю рыжий. А в это время справа еще один подступает, я и его уложил. И третьего — тоже. Трое лежат в пыли, я смотрю по сторонам, остальных ищу, а их нет никого. Я, значит, в мазанку заглядываю, может, там спрятались?.. А они, оказывается, увидели, как я с тем

рыжим расправился, и сразу деру дали. С тех пор стоит мне возле базара появиться, как вся шпана врассыпную кидается...

Случалось, правда, и так, что Саян своим бесконечным враньем ужасно надоедал ребятам, тогда они зарекались впредь его слушать, но проходило какое-то время, и мальчишки со скуки сами просили Саяна рассказать им что-нибудь интересное.

* * *

В то лето, когда началась война, Саян стал работать арбакашем вместо старшего брата, который сразу же ушел на фронт.

Не было в то лето шумных мальчишеских сборищ на краю луга. До самой осени, пока колхоз не управился с уборкой проса, ребята почти не видели друг друга. Понятно, что все это время Саян не баловал своих друзей увлекательными историями, потому как сам проработал почти три месяца на дальних участках и полевых станках.

В конце сентября Саян появился в ауле. Как-то раз собрал он ребят и увел на ток, где еще недавно молотили просо. Недели три назад здесь кипела работа, а сейчас не было ни души, кучами валялась солома да темнели местами лепешки коровьего помета.

Саян рассадил друзей кружком, сбросил с плеч ватник, постелил его в самой середине и не спеша уселся сам. Истории свои Саян и раньше никогда не рассказывал в ауле в присутствии взрослых, для этого ему необходим был простор.

На этот раз Саян изменил своей излюбленной «базарной» теме. Речь пошла о том, сколько же немцев уничтожил его старший брат Жанарбек, с тех пор как он воюет на фронте.

— Жанарбек письмо написал, скоро, говорит, в отпуск приеду,— заявил Саян хвастливо, оглядывая мальчишек.

— Да разве на фронте отпуска дают?— недоуменно возразил кто-то.

Саян будто ждал этого вопроса, он сразу как-то приосанился и с удовольствием начал разъяснять:

— Дают отпуска, да только не кому попало. Вот если

ты, к примеру, будешь, как мой Жанарбек, по сто фашистов на день истреблять, кто ж тебе отпуска не даст, дурья твоя голова?!

Саян опять оглядел примолкших друзей и спросил:

— Вы хоть знаете, сколько уже медалей у Жанарбека?

Никто из мальчишек этого не знал, и потому все молчали.

— Не знаете, так знайте — три! Три медали, понятно?— Для пушей убедительности Саян поднял руку с тремя оттопыренными пальцами.— Вот приедет Жанарбек в отпуск, я их у него с гимнастерки снимаю и сам носить буду! Может, кому еще и посмотреть дам...

Закончив рассказ о подвигах брата, Саян поведал мальчишкам о своем собственном героическом поступке.

Оказывается, летом ему привелось сразиться в степи с огромным змеем. Для ясности нужно сказать, что ходил в народе слух, будто живет в одном из мазаров, где похоронен какой-то святой, чудовищный змей и что змей этот некогда пожирал людей, а сейчас состарился и перешел на мелкую скотину...

— Возвращаюсь я как-то раз из Тарбактов,— начал свой рассказ Саян.— Луна светит... Лошадки мои устали за день, плетутся еле-еле, да и сам я уже носом клевать начал. Вдруг кони как заржут, да как шарахнутся в сторону!.. Что такое? Протираю глаза и вижу: лежит что-то поперек дороги — бревно не бревно, поначалу даже не понял, присмотрелся, а это он... Голова здоровая, как...

Саян остановился на минуту, он все никак не мог подобрать стоящего сравнения, чтобы описать огромную голову чудовища, наконец нашел:

— Лежит, значит, а голова у него здоровая, как ступа, которая у дядьки моего Бальдибая во дворе стоит, все небось видели? Нормальный человек, он испугаться бы должен, да только меня-то вы знаете, я в таких случаях в азарт еще больше входить начинаю. Эх, думаю, что же делать? Назад поворачивать? А что, если телегой его переехать? Призвал на помощь духов предков своих и начал лошадей нахлестывать! Кони взвились, разом перелетели через змея, а за ними и телега всеми четырьмя колесами по нему прошла... Он, бедняга, только зашипел, да так, что ветер поднялся,— рубаха на мне да-

же заколыхалась... И что, вы думаете, дальше было? Думаете, подох? Как бы не так! Оглядываюсь я и вижу, что змей за телегой гонится, извивается весь, шипит! Тут-то я его и разглядел. Длинный он, братцы, как бы вам получше объяснить?.. Вот если голова его, скажем, здесь, на току, то хвост — где-то там, возле бальдибаевского дома будет.

Пучеглазый сынишка Бальдибая при этих словах начал ерзать от страха.

— Но все же напугался ты, наверное?— спросил Саяна мальчишка, который сидел по правую руку от него.

— Скажешь тоже — напугался! Да кем бы я тогда был, если бы струхнул? Я, наоборот, еще больше осмелел. Взмахнул кнутом и погнал лошадей, а потом, когда змей отстал, я их опять на него развернул.. Лошади все-таки самые надежные из всех животных! Подхлестнул я значит, своих коняг, и они снова полетели на змея. Помню, когда второй раз через него переехал, телега чуть не перевернулась. А он вроде сдавать начал — уже не так извивается и не шипит, как сначала. Ну, думаю, теперь мне терять нечего! И еще раза три проехался по нему... Тут он и сдох, бедняга.

— Так он и лежит там до сих пор?— снова спросил рыжий мальчишка.

— Какое там — лежит! А вдруг бы на него набрел кто? Скажем — ты? На месте бы от страху помер. Так вот, как только змей трепыхаться перестал, я его за голову веревкой к телеге притянул и потащил волоком к Вонючему озеру, в него и сбросил с обрыва.

Никто из ребят на этот раз не смог уличить Саяна во лжи.

А сам Саян, передохнув минуту, продолжал будничным голосом:

— Да что там змей, вот если бы к нам в аул фашисты заявились... Хотя бы на одной подводе, вот тогда бы я им задал!

Мальчишки помладше перепугались от одной только мысли, что к ним в аул заедут вдруг настоящие фашисты. А кто-то из старших спросил:

— Что, один бы со всеми справился?

— Запросто! Вот, скажем к примеру, приехали они на подводе и встали возле двора дядьки моего Бальдибая...— Сынишка Бальдибая уже в который раз почувствовал себя неудобно. — А я что? Думаете, смотреть на них

стану? Я сначала ломом каким-нибудь вооружусь, подойду к их подводе и закричу: «А ну, выходи один на один! Кто из вас смелый?!» Фашисты сразу в меня стрелять, думаю, не станут, потому как удивятся, откуда это такой смельчак выискался? А потом самый здоровый слезет с телеги, дескать, сейчас я тебе задам, сопляк ты такой! А я что?.. Я долго раздумывать не стану — подскочу к нему вплотную и врежу ломом по голове! Голова, конечно, расколется, даже если он в каске будет... А когда второй фашист с телеги слезет, я его по шее. Третьего — ногой, как того рыжего, и ружье у него выхвачу. Фашисты, конечно, не будут сидеть смиреннько в телеге, глаза на меня пялить, могут и подстрелить... Да я все это наперед знаю, поэтому наставлю на них ружье и закричу: «А ну, руки вверх, собаки!» И пусть попробует кто не подчиниться... Все поднимут, как миленькие. Тут я вам приказ отдам: «Вяжите их!»

Ребята оживились. Всем как-то приятно стало на душе, что Саян им такое важное дело поручить собирается.

— И тогда — чур не трусить! Возьмете веревки, окружите телегу и начнете вязать всех по одному, а я все это время на мушке их держать буду. Потом мы их в коровнике запрем... Среди фашистов будет, конечно, генерал, его связывать не надо. С ним у меня особый разговор состоится. Я этого генерала схвачу за шиворот, поверну к себе да как врежу!

Саян вскочил на ноги и показал, как будет бить генерала. Ребята разинув рты смотрели на него.

— От такого удара у него в глазах круги пойдут! А я что? Мне-то теперь спешить некуда. Чего мне бояться-то? Тут я его уже не спеша допрошу:

— Будешь с нами воевать, а?.. Победить нас хотел, да?.. Весь аул в свою Германию угнать хотел? Вот тебе — победа! Вот тебе гостинчик от нашего аула!

Пока Саян расправлялся с генералом, мальчишки глаз от него оторвать не могли.

Наконец схватка кончилась, Саян сам изнемог от усталости, плюхнулся на солому, перевернулся на спину и некоторое время молча глядел в небо.

Ребята продолжали замороженно смотреть на друга, который лежал перед ними на мягкой просяной соломе и казался настоящим сказочным батыром, отдыхающим после боя.

— Я, братцы, на фронт уйду скоро,— сказал вдруг Саян, все так же пристально всматриваясь в небо. Военкомат не пустит — сам убегу. Все равно уйду. Голос у него дрожал.

И ребята вмиг поверили, что Саян завтра же отправится на фронт. А как же они будут здесь без него? Что, если снова объявится чудовищный змей или фашисты возьмут да и впрямь нагрянут в аул? Кто с ними справится?.. Нет, без Саяна им никак нельзя. Хоть бы он не уезжал никуда...

Саян снова заговорил:

— Не могу я здесь оставаться. Поеду. Покажу этим гадам... И пока не разгромлю всех, не вернусь!

На ресницах его заблестели слезинки. Мальчишкам тоже захотелось плакать. Но тут Саян сказал твердо

— А потом приеду в аул с победой. Что вы тогда делать станете? Да уж, наверное, не будете здесь сидеть, а как узнаете, что я возвращаюсь, сразу отправите меня встречать! То-то будет веселье, когда мы в Тарбактах обнимемся!.. Нет, братцы, не плакать мы будем, а веселиться.

* * *

Весной снова началась страда. Школа была закрыта потому как оба учителя ушли на фронт. Подростки работали на полях. Саян, как и в прошлом году, правил парой лошадей на подводе брата.

Три дня назад он заехал на участок к Киясу, привез пласты дерна. Саян сошел с подводы, как всегда улыбаясь во весь рот, и начал здороваться по-взрослому

— Как дела, Кияс? Мать поправляется?

— Да нет, все так же...

— Бабушка моя тоже слегла. Я ей сегодня утром говорю, ты бы, мол, пока война идет, не болела, смотреть-то за тобой все равно некому. Так она на меня знаешь, как обиделась! «Ты, говорит, что, думаешь, мне болеть очень нравится?!»— Саян ловко передразнил свою бабуку. Мальчишки посмеялись.

— Осенью сдадим просо и опять все вместе соберемся,— сказал Саян.— Знал бы ты, сколько у меня всего накопилось! Да только времени нет рассказывать. Мне сейчас повоевать охота. Да, я тебе еще не говорил?

Письмо от Жанарбека пришло. Он теперь танк водит. Ты знаешь, что такое танк?

— Знаю.

— Танк, он даже паровоз в два счета обогнать может. Жанарбек на нем сейчас фашистов тысячами давит, все равно что муравьев. Когда война кончится, он на этом танке в аул приедет, вот тогда мы с тобой на нем и накатаемся!

Кияс слушал своего друга и снова никак не мог понять, где он правду говорит, а где врет...

— Дядя Каипбек, наверное, тоже воюет?— неожиданно спросил Саян.

— Не знаю...

— А чего тут не знать? Конечно, он уже давно на фронте, а ты думал, где-нибудь на полпути в альчики играет? Дядя Каипбек настоящий силач. Небось дает им жару! Да, был бы я таким здоровым...

Саян даже взгрустнул, что не обладает такой силой, как Каипбек, а потом снова улыбнулся:

— Я ведь, Кияс, тоже не слабак. После Каипбека я, считай, в ауле второй буду. Не веришь? Нет, ты скажи!

— Верю,— растерянно согласился Кияс.

— Ну вот. Если так, то сам видишь, надо мне поскорее на фронт ехать. Я уже больше года терплю, хватит, сколько можно? Вот возьму и рвану на днях из аула, думаешь, так и буду здесь с этой подводой возиться?

Саян помолчал немного и добавил:

— Ты мне скажи, когда письмо от дяди Каипбека придет, я узнаю, где он воюет, и прямо туда поеду...

Тут на дороге появился бригадир Айбол и Саяну пришлось бежать к своим лошадям.

* * *

...Кияс словно очнулся ото сна, поднял голову и огляделся. Квадраты чеков постепенно заполнялись водой. Почти треть участка была уже полита. Пока ему явно везло — только один раз прорвало насыпь у крайнего чека. Возможно, Кияс из осторожности пустил слишком мало воды, он подумал, что еще не поздно увеличить напор, тогда можно будет одновременно поливать чеки по обе стороны арыка. Мальчик даже пожалел, что не поступил так с самого начала.

Солнце уже стояло в зените. Вся округа сникла под

полуденным зноем. В эти часы над степью устанавливается тягучая тишина — ни одна былинка не качается хотя бы от малейшего дуновения.

Кияс стер полой рубахи пот с лица и пошел к запруде. Здесь он первым делом умылся холодной водой. Дышать после этого стало легче.

Помедлив, мальчик разобрал наполовину перемычку, освободившиеся пласты дерна сложил на берегу. Теперь воды пошло вдвое больше. «Давно пора, а перемычка на нижнем конце выдержит, чего ей не выдержать?» — думал Кияс. Опустив босые ноги в арык, он глядел, как упругая волна бесшумно катилась в сторону участка.

Потом снова пошел к чекам. Большая вода уже дошла до них, теперь ее можно отводить на западную половину поля. Кияс переходил от чека к чеку и ударами кетменя открывал канавки. «Пожалуй, — рассуждал он, — можно эдак управиться с поливом сегодня дотем на. — И опять пожалел, что раньше не додумался пустить воды побольше. — Вечером Айбол заедет посмотреть, как у меня здесь дела идут, и удивится, а потом еще маме расскажет. Он ведь такой старик...»

Кияс повеселел и вдруг почувствовал себя взрослым опытным дехканином, вспомнил отцовские слова, что лучше всего одновременно поливать весь участок. «Если, конечно, сил хватит справиться с большой водой», — оговаривался отец, и скоро Кияс понял, что оговаривался-то он неспроста.

Вода опять стала размывать насыпи между чеками то в одном месте, то в другом. Через час мальчик был уже весь мокрый от пота и все же не жалел, что увеличил напор. А перед глазами стоял отец со своим кетменем, вот в такой же мокрой от пота рубахе. Сколько раз сын видел его таким, но не помнит, чтобы отец когда-нибудь жаловался на усталость, он вообще не любил разговаривать, когда работал.

Кияс решил передохнуть минуту и сел в тени возле одинокого куста. Скоро должен подойти Саут. Малыш ежедневно носит брату обед сюда, на участок, а потом с пустым котелком возвращается в аул. Кияс глядит ему вслед и всегда жалеет Саута — ведь тяжело ему ходить каждый раз по такой жаре..

Чеки по обе стороны арыка одновременно наполнялись водой. Кияс уже окончательно успокоился и пове-

рил в душе, что до заката солнца с поливом будет покончено. Но тут произошло то, чего он больше всего опасался — с нижнего конца поливного арыка донесся шум воды. Кияс вскочил с места и побежал к перемычке.

Оказалось, перемычка обвалилась наполовину. Вода уходила широким потоком в степь. Кияс с разбегу прыгнул в промоину, даже не осознавая, зачем он это делает. Струя была такая сильная, что мальчик невольно оступился. «Что же теперь делать?— пронеслось в голове.— Удастся ли одному закидать промоину?» Кияс заплакал от злости и отчаяния, оттого, что понял наконец цену своим силенкам... Он хотел лечь поперек промоины, но струя подхватила его и отбросила на несколько шагов. Мальчишка стоял на четвереньках в грязи и плакал. Потом отполз в сторону, взял кетмень.

Через какое-то время Кияс поднялся. Отчаяние, поначалу охватившее его, постепенно проходило. В конце концов перемычку можно выложить заново. Пускай на это уйдет много времени, но ведь дело-то все-таки поправимое. От этих мыслей он, почувствовав вдруг уверенность, побежал к запруде, начал старательно ее перекрывать. Скоро в поливной арык уже не поступало ни капли воды.

Когда он снова вернулся к перемычке, напор в промоине порядком ослаб. «Отец бы на моем месте не растерялся и в воду бы зря кидаться не стал,— подумал Кияс.— Он ведь всегда говорил, что в спешке больше вреда, чем пользы».

Заложив последние куски дерна, Кияс начал присыпать их сверху землей. Бросать кетменем землю в полуденный зной — дело изнурительное, а кидать к тому же приходилось издалека. Кияс налегал изо всех сил на черенок и вспоминал, как ловко управлялся, бывало, с такой работой отец. Он мог запросто кидать землю за семь шагов. Ударит разок кетменем, и рытвина остается — впору очаг устраивать.

Когда отец собирался на фронт, он привязал проволокой свой тяжеленный инструмент под крышей навеса, а сыну выдал кетмень полегче, вот этот — с ним раньше ходила на поле Торжан.

До сих пор Киясу и в голову не приходило поработать отцовским кетменем, а сейчас вдруг захотелось: «Тем бы я уже давно закидал промоину, а этот — легкий

слишком, надо будет его Сауту отдать...» Мальчик раз мечтался, представил, что, может быть, в эту минуту походит на отца и что если бы кто-нибудь из аулчан прошел сейчас по дороге и посмотрел на него, то наверняка бы удивился — не сам ли это Каипбек работает?

Усталость и жажда брали свое. Мальчик уже не так рьяно взмахивал кетменем и стал подумывать, что неплохо было бы сходить к головному арыку, напиться проточной воды — коже-то давно кончилось. Он решил, что даст себе передохнуть после десяти ударов, потом набавил еще десяток... И тут знакомый голос окликнул его по имени. Кияс обернулся и увидел Саута. Малыш держал в одной руке баклажку, в другой — хлеб.

Братья отошли к берегу головного арыка и устроились там под тенью джиды. Саут развязал узелок с хлебом, расправил скатерку и придвинул к Киясу горшок с кислым молоком.

— Что, устал, наверное, пока шел?

— Нет. Ты думаешь, мне этот узелок нести тяжело?

Кияс промолчал, он взял обеими руками горшок, поднял его и начал пить, запрокинув голову...

Со стороны реки потянуло едва ощутимой свежестью. Усталость постепенно проходила. Кияс приподнялся на локте и бросил взгляд вдоль поливного арыка, на перемычку. Отсюда место, где образовался прорыв, было похоже на седловину в гряде холмов. «Надо будет потом еще земли подбросить», — подумал про себя Кияс.

Саут дождался, когда брат поест, и только потом заговорил:

— Ты, наверное, сам устал здорово?

— Немного...

— Запруда развалилась, да?

Кияс не ответил.

— А я сегодня корову сам на луг выводил.

— И кол сам забивал?

— Да, а потом пришел домой и самовар разжег. Мама после чая сказала, что ей полегче стало. — Саут говорил совсем как взрослый, он словно успокаивал старшего брата.

Кияс тронул малыша за плечо:

— Ну что, теперь домой пойдешь?

— Пойду...

Саут встал, отряхнул штаны и взял баклажку, с которой Кияс утром пришел на участок.

— Маме что сказать? Что ты поливаешь еще?

Кияс понял, брат спрашивает, нужно ли говорить матери про запруду.

— Скажешь, что я заново перемышку построил.

Саут, помахивая пустой кубышкой, зашагал по тропинке в сторону дороги.

Кияс еще немного лежал один в тени, его потянуло ко сну. Вздремнуть бы сейчас... Но мальчик знал, что стоит прикорнуть — и он провалится на несколько часов в сон. Нет, надо вставать — чем больше пролежишь так, тем труднее будет потом снова браться за кетмень, да и работа после обеда всегда не в охоту.

Кияс наконец пересилил дрему и медленно поднялся на ноги, взял прислоненный к ветке кетмень.

Солнце теперь уже клонилось к закату и палило не так сильно.

«Надо будет сначала укрепить как следует перемышку, а уж потом можно и поливать спокойно», — повторил про себя Кияс.

Возле перемышки мальчик выбрал место, откуда удобнее кидать землю, поплевал на ладони и снова принялся за работу.

Однако землю он кидал уже без прежнего азарта, и подражать знаменитым аульным кетменщикам тоже не хотелось. Мальчик думал, что надо бы действительно попробовать отцовский заступ, а то ведь от этого толку мало... В конце лета поспеет просо, придется охранять участок. Нужно к тому времени рогатку смастерить... Мама уже поправится, наверное. А может, и война осенью закончится, отец придет...

Кияс тихо вздохнул.

Огненный диск солнца над степью увеличивался на глазах и постепенно, все ниже клонясь к горизонту, окрашивался в багровый цвет. Прохладный ветерок с реки был все ощутимей.

Кияс набросал достаточно земли на перемышку, потом начал наращивать ее с обоих боков. Видя, что с этим делом, можно сказать, уже покончено, заработал быстрее. «Вот бы отец порадовался, если б увидел, что я на участке один со всем управляюсь! — подумал Кияс. — Я ему письмо напишу. И все расскажу, как есть».

Наконец он распрямился. Теперь можно смело арык заполнять — через такую запруду никакая вода не пробьется.

Кияс тщательно, не торопясь утрамбовал землю тыльной стороной кетменя. Перемычка стала гладкая да же заблестела. Мальчик отошел в сторону и несколько минут любовался своей работой. А что участок полить до конца не успел — так это ничего. Завтра закончить можно.

Послышался глухой стук лошадиных копыт Бригадир

Обычно Айбол чуть ли не за сто шагов начинал разговаривать. В этот раз он приближался молча. Старик ударил коня пяткой в бок и подогнал его к самой перемычке. Кияс тоже молчал. Он вдруг почувствовал себя провинившимся, словно и не делом занимался, а возился целый день с какой-то мелочью.

— Ты, я вижу, перемычку хорошенько поправил, милоч...

Кияс ждал, что бригадир станет ругать его, мол воды в арык напустил, негодник, больше, чем надо, а ведь предупреждали тебя.. Но старик, выходит вместо этого хвалит его. Кияс осмелел, поднял голову

— Ладно, малыш, завтра докончишь. Ступай домой, устал, наверное? — тепло, даже как-то по-родственному, сказал Айбол.

— Хорошо, ата, сейчас пойду.

— Ну вот и молодец. Уже и джигитом стал настоящим. Увижу Торжан, скажу ей: «Повзрослел твой сынок — радуйся...»

Айбол, ничего больше не сказав, развернул коня и поскакал к аулу. А Кияс начал собираться — нашел тюбетейку, которую обронил впопыхах, когда бежал к прорыву, завязал в узелок баклажку. Выйдя на тропинку, напоследок еще раз оглядел квадраты чеков, заполненные водой, — они горели сейчас оранжевым блеском заката. Мальчик подумал, что если бы не прорвало сегодня поливной арык, то, может, завтра ему и не пришлось бы сюда возвращаться.

Он медленно брел по разбитому проселку. Ноги увязали в пухлой дорожной пыли, и передвигать их было так трудно, как если бы к каждому сапогу по пудовой гире привязали. Кетмень больно врезался в плечо. Утром Кияс размахивал им на ходу, словно прутиком, а сейчас этот же кетмень казался свинцовым. Как он не подумался его на участке оставить?

Мальчик едва дотащился до аула, но здесь собрал

остаток сил и зашагал быстрее. Не хотелось, чтобы кто-то заметил, как сильно измотался он за день.

На краю аула играли ребята. Кияс прошагал мимо них и даже не оглянулся. В другой бы раз сбросил с плеча кетмень и побыл с полчаса среди друзей, а сейчас не остановился, хотя мальчишки и звали его. Когда те увидели, что он молча проходит мимо, начали, как водится, подтрунивать — вот, дескать, какой деловой стал Кияс.

А Кияс вспоминал, как возвращался вечерами с работы отец. Суровый и мрачный от усталости, он проходил по аулу размеренным, тяжелым шагом, ни с кем не заговаривая. Возле юрты с громким стуком опускал на землю кетмень, потом снимал со столба горшок с коже — так уж было заведено, мать еще в полдень заново заквашивала рисовый отвар и выставляла его на солнце киснуть, чтобы к возвращению мужа коже успело перебродить. Отец обеими руками подносил горшок ко рту и начинал пить. Пил он жадно, огромными глотками — так, что коже струйками переливалось через края горшка и заливало ворот рубахи. Со стороны можно было подумать, будто мужик неделю в пустыне без воды промаялся...

Кияс живо представил себе эту картину. Он тоже, подойдя к юрте, первым делом громко хлопнул о землю кетменем, снял со столба горшок и начал пить... Точно так, как отец.

А когда напился, поставил горшок и, отдышавшись, утерся рукавом. Отец в таких случаях вытаскивал огромный — с добрую косынку — платок. Кияс вспомнил про это и даже расстроился: мальчишеская привычка — вытирать губы рукавом — не вязалась с его нынешним положением. Ну, да ничего, с завтрашнего дня и он заведет себе платок, такой же, как у отца, и будет всегда держать его в кармане...

Проголина вокруг юрты была спрыснута водой и чисто подметена. Мать лежала в тени на одеяле, под голову себе она подложила несколько подушек.

Мальчик подошел к ней нарочито бодро, чтобы мать не заметила, как он устал, и не начала бы его жалеть, опустился на коленки и присел рядом, на краю одеяла.

— Недавно бригадир твой приезжал, — сказала Торжан.

Кияс понял, что Айбол, конечно же, хвалил тут его, но промолчал. Мальчик все еще старался держать себя как взрослый мужчина, а мать осторожно погладила его по голове и почти прошептала: «Устал ты, видать, совсем, малыш...» Теплый ком подступил к горлу, Кияс чувствовал, что еще немного — и слезы хлынут из глаз ручьем...

— Письмо от отца пришло. — Мать засунула руку под подушку и, пошарив там, нашла наконец обернутое в платок письмо, протянула его сыну. Мальчик быстро развязал узелок, добрался до заветного листка бумаги и, развернув его, начал читать. Первые строки он мельком пробежал глазами — в них отец, по обычаю, справлялся о благополучии аула и сообщал, что сам он в настоящее время жив и здоров. И только встретив свое имя, Кияс начал читать внимательно:

«Сынок мой, Киясжан, слушаешься ли ты во всем маму? Ты ведь уже взрослый у меня, в семье теперь — за хозяина. Как там наш участок? Засеяли? Да теперь и полить уже успели? Нелегко, наверное, дался первый полив? Там в конце арыка перемычка слабоватая получилась, я перед отъездом предупреждал Айбола. Как Саутжан? Ты уж присмотри за ним, как старший. Ну, до встречи...»

Кияс еще раз перечитал письмо, потом сложил его, завернул в платок и отдал матери.

Подошел Саут. Он притащил от колодца воду — два полных ведра. Кияс видел, как малыш нес ее. Он даже согнулся под тяжестью, ноги у него заплетались. Поставив ведра под навесом, Саут взялся разжигать самовар, но прежде закатал до колен мокрые штаны — пока нес воду, успел наплескать на них. Кияс смотрел, как братишка привычно вытряхивает золу из самовара, как заправляет его водой, и порадовался: молодец, ничего не скажешь...

Саут сам догадался, что брату надо умыться, и принес кувшин.

— Письмо от папы пришло. Читал?

Кияс кивнул головой.

— А Саяну принесли «черную бумагу»...

— Что это?.. Письмо такое?

— Нет... это... Жанарбека убили.

Кияс замер.

— Саян знает?..

— Его в обед с поля привезли. Все старики собрались у него дома, они и сказали.

Киясу вдруг стало жалко Саяна.

— Плакал он?

— Нет. Когда ему сказали, он молчал долго, ни на кого не глядел, а потом схватил эту бумагу и убежал с ней...

— Он сейчас дома?

— Вечером вернулся. Страшный такой, весь в грязи. Мы к нему даже подойти побоялись.

Кияс представил себе, как Саян плакал, катался по земле, один в степи за аулом. «Не захотел никому своих слез показывать. Вот ведь какой парень...»

Пойти прямо сейчас к Саяну Кияс не решился. «Завтра увижу. Разыщу его на поле».

Сели ужинать. Кияс торопливо хлебал кукурузную кашу. Саут сам приготовил ее сегодня. Видя, как брат уплетает за обе щеки, похвастался:

— Я и за Саяна корову теперь вывожу, сам-то он на работе, а больше у них некому...

Кияс молча кивнул головой. Через некоторое время сказал братишке:

— Мы сейчас, Саут, будем с тобой письмо писать папе.

— Хорошо.

— Тогда приготовь бумагу и карандаш. Конверт умеешь делать?.. То-то. Я тебе покажу сегодня.

После ужина братья, поддерживая с двух сторон мать, подвели ее к постели и уложили.

Скоро Торжан заснула.

Саут принялся убирать посуду. Он и в этом деле сноровку проявлять начал. А Кияс отвязал отцовский кетмень от застрехи навеса и положил его в воду, чтобы черенок разбух и крепко держался в гнезде.

Покончив с делами, мальчишки уселись на полу возле керосиновой лампы и принялись за письмо. Сначала хотели писать каждый от своего имени, но потом Саут согласился, чтобы писал только Кияс.

«Любимый наш отец Каипбек!» — аккуратно вывел в начале листа Кияс.

— А может, лучше по-другому, написать бы просто — «Папа!» — предложил Саут, но Кияс не обращал на него внимания, он сосредоточенно продолжал выводить: «Все ли у тебя благополучно? Наверное, громите

там фашистов? Мы — мама, Саут и я — желаем, чтобы так оно и было. Твое письмо мы получили. Мама уже поправляется. Папа, сейчас весь аул сеет просо. Сегодня я заново переделал запруду в конце поливного арыка. Завтра закончу первый полив».

Кияс подумал о том, как обрадуется отец, когда прочтет эти строки:

«Саут привет тебе шлет. Он больше не шалит, как раньше, а помогает маме. Со всеми делами домашними сам управляется».

— Напиши, что я уже и кашу варить умею.— Саут потянул брата за рукав.

Кияс написал, потом задумался и продолжал:

«Папа, как ты там, на фронте? Жанарбека, старшего брата Саяна, враги убили. Сегодня бумага пришла. Как же вы не уследили, а?..

Саян скоро тоже поедет на фронт. Он говорит, что убежит тайком, если его пускать не станут. Саян, он такой. Он даст жару этим немцам.

А мы по тебе сильно скучаем. Возвращайся скорее...»

Две слезинки упали на лист бумаги и расползлись по нему пятнами.

«Папа, я с завтрашнего дня буду выходить на участок с твоим кетменем. До свидания. Я, Саут и мама ждем тебя».

Кияс закончил письмо, старательно сложил его вчетверо, заклеил конверт и надписал адрес.

Саут к тому времени уже спал, уронив голову на стол. Кияс поднял брата, уложил на постель, потом и сам лег рядом.

Пролежал он долго, усталость прошедшего дня неодолимой тяжестью навалилась на него, и скоро Кияс заснул, обнимая рукой младшего брата.

...Ему снилось, что на участке выросло просо. Высокое — словно речной камыш, метелки гнутся к земле от тяжести огромных зерен. Такого проса еще никто не видел. Кияс бродит в этих зарослях и ищет отца. Он слышит его голос, отец кричит, зовет его по имени. Кияс бежит на этот голос, а найти отца никак не удастся. «Отец!»

Кияс вздрогнул и проснулся от собственного крика. Потом опять заснул.

...Теперь ему снилось, что вернулся с войны Саян. Мальчишки на телеге отправились в Тарбакты встре-

чать его. Лошади бойко рысят по степной дороге. Мальчишки поют в телеге, да так, что на всю округу слышно. На станции стоит, подпирая руками бока, Саян. Он весь обвешан оружием, новенькая портупея на нем скрипит. «Победили мы этих гадов!» — зычным голосом кричит Саян, а ребята кидаются к нему, обнимают по очереди своего героя и весело смеются. Нет. Они не смеются — плачут мальчишки...

На следующий день Кияс поднялся рано, еще до света, взял молоток и принялся отбивать им лезвие отцовского кетменя.

В то утро аул был разбужен звоном наковальни.

НА ЛЕТНИХ КАНИКУЛАХ

1. МОЙ АКСАЙ

Вчера я целый день напролет просидел у окна. Смотрел на дорогу, до рези в глазах вглядывался вдаль — может, приедет наконец мой папа. Неужели он забыл о том, что у нас начались летние каникулы? Не может быть! Ведь каждый год, после окончания четвертой четверти, он приезжал за мной и увозил на джайляу. Как интересно проводить там каникулы! Ну почему ты не приезжаешь, папа? Или, может, забыл про меня? Ты же знаешь, с каким нетерпением я жду тебя. Места себе от тоски не нахожу. Как сильно я соскучился по всем вам! По тебе, по маме, по братишкам и сестренкам. А стоит мне вспомнить нашу маленькую Айгуль — сразу представляю ее неуклюжие, неловкие шажки. Помню, на зимних каникулах она все время хныкала и, хлюпая носом, твердила: «Хочу с Сериком спать». Не успокоилась до тех пор, пока не переупрямила Нурилю и Толеу. Как она тогда обрадовалась, аж глазки от радости заблестели. Вот и сейчас, на последнем уроке, думаю о вас. Милый папа...

— Оспанов, о чем задумался?!

Оказывается, я не заметил, что возле меня стоит наш классный руководитель — Бахытжан-ага. Я вздрогнул от неожиданности и растерянно пробормотал еле слышным голосом в свое оправдание:

— Да я... да я ничего, так просто, агай.

А учитель наш ничего не сказал, лишь посмотрел на меня понимающими лукавыми глазами и улыбнулся

Видно, догадался, почему я не слышал, что он говорил классу. Не то сделал бы замечание, пристыдил бы как следует. Он же промолчал, словно мысли мои прочитал. «Наверное, по дому скучаешь?» — такой вопрос читался в его глазах. Я тоже улыбнулся ему в ответ. Потому что здорово, когда тебя понимают без слов. У меня даже грусть как рукой сняло и на душе легче стало.

Вообще, странная эта штука — задумчивость. Задумаешься о чем-нибудь, и с тобой начинает твориться непонятное. Сразу же забываешь о том, где сидишь, что делаешь, порой ничего не слышишь и не видишь. Будто все окружающее взяло вдруг ни с того ни с сего да и пропало и ты мысленно уже бегаешь и резвишься в ауле, хотя до него не так уж и близко. Вот опять я не слышу, о чем нам говорит учитель. Сажу и представляю, как веду за ручку маленькую Айгуль. Может, поэтому, когда думаешь о чем-то приятном и хорошем, то хочешь остаться один? Хорошо мечтать в одиночестве — никто не отвлекает тебя... Вдруг весь класс дружно захлопал в ладошки. Тут я очнулся.

— Асановой Раушан и Оспанову Серику по решению педагогического коллектива вручаются похвальные грамоты за отличную учебу и примерное поведение! — торжественно произнес Бахытжан-ага и по привычке пригладил свои смоляные волосы. Они всегда почему-то спадают ему на глаза. Я встал и подошел к столу. Он вручил мне грамоту и крепко пожал руку. Удивительно, какие у него горячие ладони. Наверное, это оттого, что он очень добрый и отзывчивый человек. Я сел на место. И тут же прозвенел звонок. Последний урок, казавшийся бесконечным, наконец-то закончился. Я пулей выбежал на улицу. Думал, что во дворе меня уж поджидает папа. Но там никого не было. Постоял я, потоптался на месте и затем во весь дух припустил к дому дяди Турлыгула. Мне казалось, что, может, папа сидит и дожидается меня у него.

Дядя Турлыгул приходится моему отцу двоюродным братом и намного старше его. Поэтому мы называем нашего дядю «аке». Он, видно, только недавно возвратился из соседнего аула, куда его вчера приглашали погостить, потому что хлопотал в сарае, подбрасывая коню сено и выгребая навоз. Его он держал у себя дома круглый год. Чуть позовет его кто-нибудь в гости, он седлает коня и едет туда верхом. И у стариков забот хватает

Хотя на первый взгляд кажется, что им и делать-то нечего. На самом же деле, бедные, покоя не знают. Стараются не пропустить ни одного тоя, ни одних поминок. Вот и он уходит иногда утром, а возвращается где-нибудь поздно вечером. Порой, бывает, по два-три дня дома не ночует.

— Ассалаумагалейкум, аке!— подбежал я к нему и почтительно поздоровался.

— А, батыр, ну как учеба?— спросил аке. Он у меня всегда про учебу спрашивает.

— Хорошо. Сегодня был последний урок. Меня наградили почетной грамотой,— ответил я впопыхах. А сам не знаю, куда от переживаний деться, не могу на месте спокойно стоять. Пока он собирался сказать мне что-то приятное, скорее всего похвалить, я успел ему задать вопрос:

— А папа еще не приехал?

— Нет, милый, не приехал. Сам ведь знаешь, овец пасти — дело нелегкое и непростое. Верно, работы много, вот и запаздывает. Да ты не волнуйся, он уже, наверное, едет сюда.

Он думал, что успокоил меня этим, а я огорчился. Да так сильно, что позабыл обо всем на свете... Обычно, когда аке расчищал стойло от навоза, я всегда ему старался помочь и говорил: «Аке, давайте я»,— и брал у него лопату из рук. А сейчас я только молча повернулся и расстроенный вошел в дом. Хорошо, Айши-аже¹ дома не оказалось. Видимо, ушла к соседкам посудачить, иначе увидела бы мое хмурое лицо и стала бы волноваться. Ей ведь нельзя волноваться. Я прошел к торю и рухнул как подкошенный на стеганое одеяло.

Лежу, ворочаюсь с боку на бок, а никак уснуть не могу, все переживаю, почему отец не приехал. Аке раза два среди ночи просыпался, сон у него чуткий. «Ты чего это, Серик, не спишь?»— спросил он. А что мне ответить? Даже не помог ему сегодня навоз выгрести. Я промолчал. И чтобы не тревожить старого человека, лег на спину, стараясь не ворочаться. Задремал где-то под утро. Проснулся от тихого шепота аке. От читал молитву Забавное это зрелище, скажу вам! Сидит аке, зажав пальцами уши, поворачивая голову то вправо, то влево, а сам бормочет странные слова: «аллах акбар», словно заклин-

¹ А ж е бабушка

нения какие-то. И зачем, для чего? Бога, как известно всем, нету. Я не сдержался и засмеялся. Забыл о том, что в таких случаях нельзя кашлять, а смеяться и подавно. Хотя аке спокойный, сдержанный и добрый от природы, может простить любую шалость, но во время молитвы никому не дает спуска. Поэтому мы, то есть аже и я, стараемся ходить на цыпочках или сидеть, застыв, точно каменные изваяния, когда он читает молитву.

— Дадите вы наконец мне помолиться как следует или нет?! Что, вам трудно пять минут потерпеть? Вот закончу молитву, тогда хоть на голове ходите. Дом можете, если уж так не терпится, вверх дном перевернуть,— так нас, помню, отчитывал аке, когда я первый раз пришел в этот дом и громко разговаривал с папой и аже. Затем, собрав молитвенный коврик — жайнамаз, сердито посмотрел на папу и сказал:

— Не молод ты уж, Оспан, пора и остепениться. Не мешало бы и тебе читать молитвы и класть поклоны богу.

Некоторое время он сидел, молча перебирая костяшки четок. А папа мой засмеялся и ответил:

— Ага, да разве у нас времени много. Мы же овец пасем от зари до зари. Главное, ни о чем плохом не думаем, никого не обижаем. Работаем, как говорится, не покладая рук, чтобы совхоз наш становился год от году богаче.

По душе пришлось аке слова папы, и он довольно улыбнулся:

— Верно говоришь, Оспан. Это я просто к слову сказал. Делать мне нечего, нахожусь на пенсии. А что еще делать, как не молиться богу. Вы — другое дело. И в бурю, и в зной, и в стужу, и в гололед по степи с отарой ходите.

Аке замолчал и задумался о прожитой жизни. Ведь он до пенсии работал табунщиком, растил жеребят, укрощал строптивых коней, которые шутя сбрасывали с себя дюжих парней. Раньше он, говорят, не верил в бога и только к старости стал молиться. Наверное, в молодости совершал ошибки и мысль об этом не давала ему покоя. Но я думаю, что это не так. Какие такие грехи могут быть у аке? Работал не жалея сил, трудился до седьмого пота, был одним из лучших табунщиков в наших краях.

Пока аке читал намаз, я подумал: а что, если уехать самому, не предупредив его, на джайляу. Но решил, что

поступать так нехорошо и стыдно. Ведь и аже, и аке ничего для меня не жалели. Относились ко мне с пониманием, ласково называя «Серикжан» Нет, не буду скрывать от них ничего. Конечно, это правда, что я сильно скучаю по дому. Дай мне только волю, на крыльях полетел бы. Однако надо набраться чуточку терпения и рассказать. Я поднялся с постели и стал одеваться. Аже, видно, уже подоила корову — из сеней донеслось громыхание ведра.

— Неужели нельзя осторожнее! Всегда ты так! Весь дом на ноги подняла. Надо же думать и о других,— недовольно пробурчал аке, собирая молитвенный коврик.

— Так я же не нарочно,— виновато промолвила аже.

Аке откинул край неубранной перины и сел на коврик.

— Аке, я поеду в аул,— ни с того ни с сего выпалил я.

— Видать, ты крепко соскучился по дому, батыр,— засмеялся аке, затем глянул за окно и спокойно, желая отговорить меня, сказал:

— День какой-то пасмурный, а если дождь пойдет? Промокнешь ведь. Лучше подожди денек, куда торогишься, успеешь...

«Куда торопишься», говорит! Ему небось разницы никакой нет. А мне каково! И часу не выдержу, прямо сейчас готов пешком отправиться в дорогу.

Аже тем временем убрала постель и накрыла дастархан.

Как только мы попили чаю, аке набросил на себя чапан и кряхтя поднялся с земли. Внимательно посмотрев на мое хмурое лицо — я сидел, прислонившись спиной к сложенным штабелями одеялам, и от нечего делать водил пальцами по узорам на текемете¹,— сказал:

— Одного я тебя отпустить не могу. Да разве тебя удержишь, чего доброго — убежишь еще. Нет, пойдем-ка мы с тобой к шоферам, может, попутка подвернется. Накажу им, чтобы доставили куда надо.

Я обрадовался. Аке надел на ноги маси — кожаные сапоги — и вышел из дому. Я последовал за ним. Казалось, стоит мне промедлить минуту, он возьмет и передумает.

— Серикжан, отцу с матерью передай привет. Вот

¹ Текемет войлочный коврик

возьми гостинец — малышей угостишь,— сказала мне аке.

Я так торопился, что даже не попрощался с ней, взял у нее сверток со сладостями и, сунув его под мышку, побежал догонять аке.

Народу в гараже было много. Шоферы, занятые своим обычным делом, старательно мыли машины, аккуратно протирали стекла в кабинах, копошились с ключами в моторах и не спеша заводили грузовики. А кто куда едет, неизвестно. Аке обошел несколько машин и, остановившись возле одной, окликнул шофера:

— Это ты, Бейсен? Голубчик, доставь мальчонку домой, не откажи.

Парень поздоровался с аке и сказал:

— Это, кажется, сын дяди Оспана, что живет в Аксае? Ладно, меня как раз туда и посылают. Ну-ка, полезай в кабину. Теперь мне скучать не придется. А вы, отец, не беспокойтесь, возвращайтесь домой. Мальчишку я доставлю в целости и сохранности,— улыбнувшись, ответил Бейсен.

Грузовик с протяжным ревом тронулся с места. Конечно, ехать на машине — большое удовольствие. Опустить ветровое стекло, высунешь голову, а навстречу тебе ветер. Да такой сильный, что волосы ерошит и в ушах свистит. Но как здорово, когда ты сам сидишь за баранкой и ведешь машину. Я с завистью посмотрел на Бейсена и подумал о том, что когда вырасту, то обязательно буду шофером.

Пока я думал об этом, впереди показался Аксай. Что удивительно, здесь на первый взгляд нет ничего особенного, даже кустарников и высоких густых трав, не говоря уже о скалистых горах и высоких холмах. Из трав в этих местах встречаются лишь рогач, пырей, вейник, изень. Другое дело, если приедешь сюда ранней весной. Каких только цветов не увидишь! Склоны небольших бугров сплошь усеяны тюльпанами, маками, ромашками, будто кто-то взял и постелил огромный разноцветный ковер. А как подует ветер, цветы начинают покачивать своими головками и кажется, словно они перешептываются друг с другом.

Люблю я свой родной Аксай. Может, потому, что здесь родился? Не знаю, но все здесь мне знакомо и привычно. Если бы я был художником, то обязательно нарисовал бы удивительные картины малиновых закатов,

белоснежные пушистые облака, слегка подкрашенные лучами заходящего солнца. А еще нарисовал бы портреты многих чабанов, таких, как мой папа. Честно говоря, я уже пробовал рисовать. Вот только никому еще не показывал свои рисунки — стесняюсь. А вдруг посмотрят и засмеют.

Как-то Бахытжан-ага дал нам домашнее задание — написать сочинение на тему: «Мой родной край». Напомнил, что по желанию можно написать его в стихах. По дороге домой у меня в голове вертелись всякие рифмы. Я даже оторопел, ведь никогда до этого не писал стихов. Видно, любовь к родному краю делает человека поэтом. Придя домой, я сел и быстро начал писать о чудесной и суровой красоте Аксая, об его богатствах, о людях, которые там живут и трудятся. Потом Бахытжан-ага прочел мое стихотворение и похвалил, посоветовав отдать его в стенгазету.

Я хорошо помню тот день. Утром я, как обычно, собирался идти в школу, но неожиданно прихворнула аже. Пришлось задержаться, чтобы помочь убраться по дому. На первый урок не успел. А когда бежал, чтобы не опоздать на второй, то возле школы лицом к лицу столкнулся с Гульнарой. Шла перемена. Я поздоровался, а она посмотрела на меня и улыбнулась. Мне стало как-то неловко. Стою, переминаюсь с ноги на ногу от смущения и думаю: «Сейчас начнет стыдить за опоздание». Но она пожала мне руку и сказала:

— Серик, ты, оказывается, самый настоящий поэт! Почему ты никогда не показывал мне своих стихов? Не думала, что ты такой скрытный. Нехорошо иметь секреты от друзей. Сейчас только прочитала в стенгазете твое стихотворение «Мой Аксай». Оно мне очень понравилось. Вот только назвал ты его странно. Будто Аксай принадлежит одному тебе и никому другому. А как же мы? Аксай ведь тоже наш.

Да, она была права. Мне вдруг стало стыдно. Я растерялся и не знал, что ей ответить. Ведь Гульнара могла поспорить со мной. А этого я боялся очень сильно. Неужто самая лучшая из всех девчонок на свете повернется сейчас и уйдет. Я даже вспотел при мысли об этом и подумал: «Зачем надо было писать стихотворение? Почему Бахытжан-ага не подсказал мне, что нехорошо присваивать себе то, что принадлежит всем? Может, он думал, что я пойму свою ошибку? Как я раньше не

подумал, к чему может привести моя нескромность. Ведь, в самом деле, знаменитое на весь наш совхоз джайляу Аксай принадлежит всем моим аулчанам. Многие из наших ребят проводят там свои каникулы: кто у родственников, кто у близких. Вряд ли найдется такой, кто еще ни разу не побывал в этих удивительных местах. Так почему же я взял и присвоил Аксай себе одному?!» Я растерянно ковырял землю носком ботинка. Не знаю, сколько времени я простоял бы с опущенной головой, но Гульнара сама выручила меня:

— Слышишь, звонок прозвенел! Пойдем, Серик!

Она повернулась и побежала. Две длинные косы подпрыгивали у нее за спиной. Будто не косы это были, а два шаловливых козленка, резвящихся на лужайке. «Какая же ты все-таки славная, Гульнар,— подумал я.— Добрая, внимательная к человеку, отзывчивая. Таких, как ты, мой папа называет «открытая душа, душа-человек». Ты красива и лицом, и душой».

Она бежала и оглядывалась назад — не отстал ли я. А на лице ее сквозила добрая улыбка.

Когда я показался в коридоре, то ребята, столпившиеся у стенгазеты, разом обернулись в мою сторону и зашумели:

— Серик, прочитали твое стихотворение.

— Хорошо написано.

— Наш классный поэт идет!

— Пиши побольше!

Пожелания и советы сыпались на меня со всех сторон. А я не знал, насмешка это или похвала. Но увидев, что никто не смотрит на меня с укором, обрадовался и остановился. Ребята обступили меня плотным кольцом и стали дружески похлопывать по плечу. Затем мы всей гурьбой ввалились в класс и стали рассаживаться по партам. Гульнар сидела через две парты впереди меня. Когда учитель поздоровался с нами, Гульнара, садясь, еще раз обернулась ко мне. На ее лице все еще блуждала улыбка, глаза смотрели приветливо и, не стану хвастаться, в них читалось восхищение. От волнения у меня дыхание перехватило, учащенно забилося сердце. Да, в тот день не было никого счастливее меня. А как же иначе, когда к твоей радости присоединяются все, когда тебя понимает твой близкий друг...

Вот о чем я вспоминал, когда сидел в кабине и смотрел по сторонам.

Вот только жалко, что я тогда так и не смог ответить на вопрос, который мне задала Гульнар: «Разве Аксай принадлежит тебе одному?» Ведь Аксай на самом деле мой. Потому что каждый человек имеет право называть родину или край, где он родился, местоимением «мой». Потому что я родился в Аксае, рос на этом джайляу. Мне знаком здесь каждый холм, каждый овраг. Все мне здесь близко и дорого. А многие из ребят приезжают сюда на время каникул погостить и отдохнуть. Их можно сравнить с туристами, которые приезжают полюбоваться природой и уезжают. Я же приезжаю сюда, потому что в Аксае мой дом, мои родители, сестры и братья. А когда настает пора уезжать, то мечтаю как можно быстрее вернуться сюда. Ну ничего, осенью я обязательно докажу Гульнар и ребятам, почему считаю Аксай своим. Посмотрим, кто из нас прав...

Я вздрогнул от громкого крика шофера и вначале не понял, что произошло. Молча повернулся к Бейсену. Он указывал рукой куда-то вперед. Я ничего не увидел.

— Смотри, Серик! Видишь? Сайгаки!

Наконец-то я рассмотрел впереди медные пятнышки, которые почти сливались со степью. Они быстро скользили по ровному как стол такыру¹, будто кто-то тянул их за собой, привязав за ниточку. Это были сайгаки. Я не раз видел их, правда издали, когда помогал отцу пасти овец. Очень красивые животные с большими глазами и горбоносими мордочками. А бегают так резво, что и на самом быстром коне их не догонишь.

Словно прочитав мои мысли, Бейсен сказал мне:

— Сейчас мы их догоним! Они от нас не уйдут!

Машина взревела и понеслась, не разбирая ни кочек, ни ям, ни дороги. Я посмотрел на спидометр. Стрелка показывала восемьдесят километров в час. Теперь мы уже настигали сайгаков. Впереди стада бежал длиннорогий вожак, а за ним самки с детенышами.

— Сейчас мы собьем машиной одну из них! — крикнул мне Бейсен. Лицо его в этот миг было злым и хмурым.

— Не надо! Зачем? Остановитесь! — крикнул я. Только сейчас я понял, чего хочет Бейсен.

— Да ты что?! Как зачем? Знаешь, какое у них вкусное мясо. Такое жаркое получается — пальчики оближешь.

¹ Т а к ы р — дно высохших от засухи озер.

Вдруг один из сайгачат остановился. Видно, выбился из сил. Бейсен резко притормозил машину и, хлопнув меня по плечу, протянул большой острый нож.

— На, Серикжан! Ну чего сидишь? Иди прирежь!

Все это произошло так неожиданно, что я взял в руки нож, не задумываясь выпрыгнул из кабины и побежал к сайгачонку. Он был такой маленький и беззащитный, что мне стало жалко бедняжку.

— Ну чего ты медлишь? Режь быстрее!— крикнул, высунувшись из кабины, Бейсен.

Я подошел к сайгачонку поближе и осторожно прикоснулся к его шее. Он лишь повернул свою мордочку ко мне и задрожал. Глаза малыша с испугом смотрели на большой острый нож в моей руке. Мне вдруг стало стыдно за свою нерешительность и трусость. Почему это я должен слушаться Бейсена? Пусть он старше меня, но я ведь пионер. Значит, я не маленький и у меня своя голова на плечах! Почему я должен убивать беззащитное животное? Что плохого сделал мне сайгачонок. Нет, ни за что не трону его!

— Эй, долго ты там?! Пошевеливайся! Живее!— сердито крикнул Бейсен. Я обернулся и увидел его сердитый взгляд. Мне стало страшно, но я взял себя в руки и крикнул:

— Я не буду резать! И вам не позволю!

Бейсен выпрыгнул из кабины и побежал ко мне. «Что делать? Он отберет у меня нож и сам прирежет сайгачонка!»— мелькнула в моей голове страшная мысль. Он был уже близко. Я изо всей силы отбросил нож в сторону.

— Ты что?! Куда выбросил мой нож? Быстро принеси мне его! Что я тебе сказал?

Но я не сдвинулся с места. Бейсен тряхнул меня за плечи, да так сильно, что у меня из глаз брызнули слезы. Он, видно, понял, что ничего от меня не добьется, и стал искать нож. Даже забыл про сайгачонка, а когда наконец нашел свой проклятый нож, было поздно. Сайгачонок отдышался и, смешно подбрасывая ноги, скрылся за ближайшим холмом.

— Ну, добился своего, паршивец! Эх, зачем только я понадеялся на тебя! Такую добычу упустил!— ругался Бейсен и готов был от злости лопнуть. Но меня не тронул. Наверное, испугался, что я могу рассказать отцу.

Дальше мы ехали молча. Бейсен всю дорогу вздыхал

и сердито поглядывал в мою сторону. До джайляу оставалось уже немного. И вдруг...

— Дяденька, остановитесь! — крикнул я во весь голос. Бейсен резко нажал ногою на тормоз и, словно спрашивая, что случилось, удивленно уставился на меня. Я не стал ничего объяснять ему, открыл дверцу и выпрыгнул из кабины. На дороге беспомощно трепыхался воробышек. Видно, он сильно ударился о капот машины и перебил себе крылья. Я подбежал к нему и осторожно, чтобы не причинить боли, поднял его. Передние колеса грузовика, не останови я Бейсена, еще чуть-чуть и в лепешку раздавили бы бедную птичку. Воробышек время от времени подрагивал у меня на ладони. Казалось, он чувствовал, какая опасность ему угрожала несколько секунд назад. Только тогда, когда я сел в машину, Бейсен понял, в чем дело, и сердито буркнул:

— Мало того, что помешал мне прирезать сайгачонка, так еще вздумал смеяться надо мной! Стоило из-за такого пустяка останавливать машину. Птичку пожалел... Тоже мне защитник птиц и зверей! Да ты знаешь, сколько мы их сшибаем, когда мчимся на большой скорости? Не говорю про змей, которых колесами давим...

Вот живодер! Я задрожал всем телом, представив себе, как Бейсен и ему подобные давят змей, преследуют сайгаков и сшибают птиц. Какой же он безжалостный и жестокий человек! Я закрыл лицо руками, чтобы не заплакать. Что плохого сделала ему эта беззащитная и крохотная пичужка? Еще миг назад она весело порхала над степью, радовалась жизни, щебетом оглашая округу. А сейчас лежит, безжизненно распластав израненные крылышки, с закрытыми глазами. Какой-то миг — и все конечно. Неужели машине места мало. Вон какая широкая степь! Птицы всегда тянутся к людям, держатся поближе к ним, потому что надеются на их доброту и не ждут от них зла. А такие, как Бейсен, отвечают им подлостью. Папа постоянно твердил мне: «Сынок, никогда не трогай и не обижай птиц и животных. Они ведь братья наши меньшие, они тоже хотят жить. Жизнь у всех одна...» Я вспомнил эти слова и почувствовал себя очень скверно. Наверное, лицо мое побледнело. Бейсен остановил машину и испуганно спросил у меня:

— Ой, что это с тобой?! Тебе плохо?

Я ничего не ответил ему и выпрыгнул из кабины. Меня стошнило. Израненный воробышек лежал в моей

кепке. Он поднимал головку и время от времени едва слышно чирикал. Ему было очень больно. Я молча взял кепку в руку и пошел пешком. Иду и с трудом сдерживаюсь от возмущения: «Негодяй! Из-за таких, как ты, гибнет природа. Вместо того чтобы учить доброте других, ты сам творишь зло». Бейсен удивленно смотрел мне вслед, будто ничего серьезного и не произошло. Затем догнал меня и попытался остановить.

— Серик, да что с тобой стряслось? — спросил он меня, удерживая за руку.

А я вырвался и пошел дальше.

— Ты что, решил пешком топать? Не дойдешь ведь, пить захочешь, а до аула еще далеко.

— Как-нибудь дойду, выдержу.

Бейсен понял, что меня уже не уговорить, и уехал. Степь широка, конца и края ей не видно. Да что я, вот только боязно мне за воробышка. Наверное, пить сильно хочет. Я пошел быстрее, затем побежал. Казалось, и степь, окутанная колышущейся дымкой испарений, убежала от меня вдаль, испытывала мою силу и выносливость. «Земля, отдыхая от дневной суеты, распускает свой пояс и к ночи становится шире». Так говорила мне, когда я был совсем маленький, мама. Вспомнив это, я засмеялся, потому что в учебнике географии такого не прочтешь. Да и учитель ничего подобного нам не говорил. Выходит, мама моя знает о том, что и ученым неизвестно. Хотел было спросить как-то на уроке, но не решился, боялся что засмеют. К тому же несносный Самет потом целый год дразнил бы меня. Как говорится, молчание — золото! Если бы взрослые не знали, то не говорили бы так.

До аула, казалось, рукой подать, но дошел я до него только через два часа, да и то с большим трудом. И всю дорогу, пока шел, думал обо всем том, что сегодня произошло со мной в пути.

2. ПОЧЕМУ ПАПА НЕ ПРИЕХАЛ ЗА МНОЙ

Хотя я возвратился в Аксай радостный и довольный, но дома меня ждали огорчения. Папа лежал, прикованный к постели.

— Папа! — только успел произнести я и, подбежав, обнял его. Он грустно улыбнулся и погладил меня по голове:

— Приехал все-таки, милый. Не выдержал.

Удивительно, какое тепло исходило от его грубых, шершавых от мозолей ладоней. Мне вдруг стало так хорошо, что я успокоился. Но спросить, что с ним произошло, не решился. Может быть, и без того ему тяжело. Папа поправил подушку, уселся поудобнее и, видимо прочитав на моем озабоченном лице беспокойство, стал рассказывать:

— Да вот упал нечаянно с коня и вывихнул ногу. Видать, конь испугался чего-то, да и шарахнулся в сторону. Хорошо, возле аула это произошло. Позвали косто-права Баймакана из соседнего аула. Вот он и вправил мне ногу. Недаром говорят, что руки у него золотые.

Он улыбнулся и нежно посмотрел на меня.

— А где Айгуль, где остальные?— спросил я после некоторого молчания.

— Да они пошли играть с соседскими ребятами, а мама твоя отару пасет возле аула.

— А помощник ваш что делает?

— Помощник уехал по своим делам на центральную усадьбу. Обещал, что за тобой заедет, когда будет возвращаться назад. Видно, забыл про свое обещание. Надо же быть таким забывчивым!— с обидой в голосе сказал папа.

Я направился к соседям. Еще издали были слышны звонкие голоса малышей. Наверное, так заигрались, что забыли обо всем на свете. Огромный пес Кутжол сразу же признал меня и, радостно виляя хвостом, выбежал навстречу. Вытянул передние лапы и стал ластиться. Интересно, оказывается за полгода успеваешь соскучиться не только по родным и близким, но и по аульным собакам. Да и Кутжол, видно, крепко по мне соскучился, вертится под ногами, проходу не дает. Погладил я его по спине и приказал:

— Кутжол, на место!

Ребятишки услышали мой голос и, расталкивая друг друга, выбежали из юрты. Первой бросилась ко мне на шею, конечно же, крошка Айгуль. Так крепко обхватила шею своими ручонками, что Нуриля с Толеу долго ждали, прежде чем она оставила меня в покое. Детишки дяди Усена стояли в сторонке и молча наблюдали за нами. Там временем вернулась с пастбища и мама. Радости ее не было предела. Какими только ласковыми именами она меня не называла — «солнышко», «светик мой», «верблю-

жонок!» Все-таки мама есть мама, и с ней всегда делишься своими тайнами, переживаниями, самым сокровенным. Наверное, оттого, что ближе ее нет никого на свете и она всегда поймет тебя. Вот и сейчас мама спросила меня, как я добрался до дома. Пришлось выложить ей все по порядку. Про то, как я спас от гибели сайгачонка, как подобрал зашибленного машиной воробышка. И еще рассказал о том, что не пожелал ехать вместе с таким злым и жестоким человеком, как Бейсен.

— Ты уже настоящий джигит! — с гордостью произнесла мама и кончиком платка смахнула непрошеную слезу. Я не сдержался и прижался лицом к ее груди. От нее исходил приятный и нежный запах, словно она вся пропиталась солнечными лучами. Отец понимающе посмотрел на нас и сдержанно улыбнулся.

На следующий день я встал утром рано и пошел туда, где на ночь стреножил своего коня мой папа. Солнце медленно выползало из-за горизонта, расплескивая золотистые лучи на пушистые облака. Все вокруг огласилось птичьим гомоном. Я шел босиком по сверкавшему от росы лугу. Влажная трава приятно щекотала пятки. Хотелось смеяться, бегать и прыгать. Или стоять и подолгу смотреть сквозь прищуренные глаза на восходящее солнце. Но надо напоить коня. Савраска вначале не признал меня. Я подошел к нему сбоку и осторожно, чтобы не спугнуть, прикоснулся руками к его густой шелковистой гриве. Погладил несколько раз и почесал у него за ухом. Он повернул голову и посмотрел своими умными внимательными глазами. Я снял с него путы, похлопал по крупу и повел к колодцу. Затем помог маме натаскать воды и погнал овец на выпас. Вернулся домой, чтобы выпить парного молока. Папа разрешил мне оседлать Савраску, и я поехал верхом на нем пасти овец.

Вернулся я с пастбища в полдень. В это время к юрте дяди Усена — папиного помощника — подъехала машина. Из нее вышел сам дядя Усен. Дети прямо-таки облепили своего отца, видно, сильно соскучились за эти дни по нему. Один помог снять костюм, другой полил ему на руки воды. Лишь тетя Балкия осуждающе посмотрела на дядю Усена. Конечно же за то, что он уехал из аула в тот момент, когда мой папа лежал с поврежденной ногой. Папа, хотя человек и незлопамятный, хорошенько отчитал своего помощника. Совсем как Бахытжан-агай провинившегося ученика.

Через несколько дней папа встал с постели и, прихрамывая, прошелся от нашей юрты до юрты дяди Усена и обратно. Если бы видели его радость! Он улыбался, словно малыш, только что научившийся ходить. Мы все радовались за папу

Чабаны — народ дружный, всегда стараются помочь друг другу. Да и на чью помощь им рассчитывать, когда людей на всю округу — раз, два и обчелся. Без дружбы чабанам никак нельзя. Все это время, пока хворал папа, его часто навещали чабаны с соседних джайлау. Заходили поведать, справлялись о здоровье, старались подбодрить. Мы же с мамой выпасали отару, а тетя Балкия занималась хозяйством. Стряпала нам всем еду. И хотя ей пришлось нелегко, попробуй уследи за такой оравой шалопаев, она ни разу не пожаловалась, ни разу не высказала своего недовольства. Папа от чистого сердца поблагодарил ее:

— Спасибо тебе, невестушка. Будь счастлива, пусть беда не заглядывает в твой дом, а дети растут и приносят тебе только радости!

А я сидел рядом с папой и думал: «Как хорошо, когда люди помогают друг другу в беде! С этого дня буду помогать всем, кому требуется помощь!»

В тот же день папа с дядей Усеном решили перекочевать и перегнать отары в местечко Кемер. Травы там сочные, густые. Папа выздоровел. Я помогал разбирать юрты и радовался, ведь мы завтра поставим их в самом красивом из здешних джайлау мест — в Кемере.

3. ПРИЕЗД АКЕ

На следующий день после нашего переезда в Кемер к нам приехал аке. Я еще издали заметил одинокого всадника. Сразу было видно, что он направляется к нашему становищу, потому что на несколько километров вокруг, кроме нас, никто и не живет. К тому же большак проходил далеко отсюда, и если бы путник ехал не в Кемер, то он бы не сошел с дороги и вряд ли мы смогли бы его увидеть. Малыши тоже заметили всадника и стали гадать, кто же это. Кутжол и два других волкодава вскочили со своих лежанок, угрожающе зарычали и с громким лаем бросились навстречу всаднику. Ничего хорошего от такой встречи не жди. Чабанские псы все как

на подбор мощные, размером с теленка. И хотя они никогда не трогают своих, но к чужим злые. Хватают зубами за стремяна, пугают коней, заходя им в хвост. Если на коне сидит неопытный седок, то он в два счета может оказаться на земле. Удержаться на брыкающемся и встающем на дыбы скакуне так же трудно, как удержаться на ногах, когда тебе ставят подножку. Я испугался за всадника и крикнул собакам: «Айт! Назад!» Эх, опоздал! Псы были уже возле всадника. И вдруг смотрю — собаки не тронули коня и побежали рядом с ним. Выходит, признали своего. Что ни говори — умные животные. Я до рези в глазах всматривался в лицо всадника, но он был еще далеко от нас. Лишь по посадке узнал аке. Хотя ему скоро семьдесят, держится он прямо, по-молодецки. Да и камчой помахивает как-то особенно. Свою теплую меховую шапку-борик носит всегда набекрень и даже в летний зной не расстается с ней. Вот по этим приметам я еще издали узнал аке. Когда он подъехал поближе, я выбежал к нему навстречу. То ли он устал от долгой дороги — лицо его было измученным и хмурым. Даже не поздоровался со мной.

У входа в юрту его встретила мама и с поклоном поздоровалась, как того требует обычай. Удобнее расположившись на почетном месте, аке начал расспросы:

— Долгих лет тебе жизни, милая. Живы ли, здоровы все? Цел ли скот? А то болтают в ауле всякую чепуху, чтоб им пусто было... Поговаривают, что Оспан упал с коня и разбился. Вчера только услышал. Вот и не стерпел, встал с утра пораньше и сразу же к вам. Всю дорогу коня понукал, спешил: а вдруг что-то с братом моим, — и вытер большим платком выступившие на глаза слезы.

Мама внимательно, не перебивая, выслушала аке. При этом незаметно поправила косынку, заправив под нее выбившиеся волосы. Тут на беду к юрте подбежал Кутжол и прямо возле порога принялся рыть землю лапами.

— Серик, а ну-ка немедленно прогони пса, — спокойно сказала мне мама. Что ни говори, а она у меня верит во всякие приметы. Увидела, что пес роет лапами землю, и испугалась. Думает: «Быть беде!» Чтобы не огорчать ее, я не стал перечить и прогнал пса.

— К счастью, обошлось, кайнага¹, — расплакалась

¹ К а й н а г а — так обращаются женщины к старшим родственникам мужа.

вдруг мама. Говорят, слезы горе облегчают. Стоит проплакаться, и печаль как рукой снимает. Я сам не раз на себе испытал это, когда тосковал по родному аулу.

Мама смахнула кончиком платка непрошеные слезы. Аке громко спросил ее:

— Ну так где же Оспан?

Видимо, не стерпел. Ведь старые люди бывают впечатлительными, волнуются, переживают за родных. Все это время он беспокойно оглядывался по сторонам, словно ища взглядом папу.

— Да вы не волнуйтесь! Он уже поправился. Сегодня на рассвете погнал отару на выпас. Если бы не костоправ Баймакан, худо пришлось ему бы. Вы, верно, знаете Баймакана из соседнего аула? Вот он и вправил Оспану кость.

Мама заметно повеселела. Хмурое лицо ее словно светом озарилось, заплаканные глаза радостно засияли.

— Значит, недолго провалялся в постели? Хорошо, а я уж, грешным делом, подумал, что он себе шею свернул, — облегченно вздохнул аке.

Мне показалось, что весь дом наполнился радостью. Мама, словно очнувшись, сокрушенно всплеснула руками:

— Надо же, запомнявала! — и быстро подала аке пуховую подушку. Затем принялась готовить чай. В аулах чабанов, встречая гостей, первым делом ставят самовар. На растопку идут саксауловые щепки. Проходит всего несколько минут, и вода в самоваре закипает. Его вносят в юрту и ставят на жестяной поднос. Он весело гудит, пышет жаром и начинает раскачиваться. Как здорово пахнет терпкий дым, как приятно щекочет он ноздри. Я глянул за откинутый полог юрты. Дым из самовара прямой ровной струйкой поднимался ввысь. По нему я определил, что ветра нет.

Аке, видимо, устал от долгой езды на коне. Не успел вскипеть самовар, а он уже дремал. «Отдыхай, милый аке. Я только сегодня понял, какой ты добрый и чуткий. Прости. Оказывается, я не придавал большого значения твоим словам, которые ты мне говорил, когда жил у тебя. Теперь мне понятно, за что тебя любят, почитают и уважают все взрослые в нашем ауле».

Проснулась спавшая Айгуль. Прибежали и Нуриля с Толеу, игравшие возле юрты дяди Усена. Довольные, запыхавшиеся, словно сделали важное дело. Юрта сразу

же наполнилась шумом и гамом. Толеу перешагнул через порог и в нерешительности остановился у дверей.

— Поздоровайся с аке,— сказал я ему, показывая свое старшинство. Этим я хотел выразить свое уважение к аке, свою к нему любовь. Хороших людей надо уметь уважать. Надо оказывать им внимание, заботиться о них. К такому выводу я пришел, глядя на спавшего аке.

4. БЕЗЫМЯННЫЙ ХОЛМ

Аке гостил у нас недолго. Убедился своими глазами, что папа жив-здоров и собрался в обратную дорогу. Выспался он как следует и будто помолодел. Встал утром рано, на зорьке, и пешком обошел всю округу. Подышал медовым воздухом джайляу, побродил по росистым лугам и радостный вошел в юрту. Недаром все говорят, что воздух в Аксае исцеляет от всех болезней. Дыши им хоть целый день — не надышишься. Если бы я не знал об этом, то разве стал бы в стихотворении писать о том, что воздух в Аксае медовый? Конечно же нет.

За утренним чаем аке сказал папе:

— Хорошие места здесь, Оспан. И для людей в радость, и скоту на пользу. Нигде нет таких богатых пастбищ. Давай-ка мы с тобой сходим к тому холму. Почтим память наших предков, которые там похоронены.

Папа повернулся ко мне и попросил:

— Серик, взрослый ты уже у меня. Помоги, присмотри за овцами, пока мы с аке сходим к холму. Можешь сесть на моего. Только, смотри, не загони его ненароком. А отару паси возле аула, далеко не уходи.

— Ну иди, сыночек, ты ведь у меня умница,— это в разговор вмешалась мама. Думает — не хочу. А я разве против?! Об этом я и сам мечтал. Верхом на жеребчике покатаюсь, воздухом луговым подышу!

Прошло всего несколько дней, как я приехал. Еще не все овраги и холмы облазил. Все мне здесь кажется каким-то новым и необычным. Так всегда бывает, когда приезжаешь в родные края. Почти полгода здесь не был. Соскучился так крепко, что нарадоваться и наглядеться не могу. Еду на стригунке, красотой окружающей люблюсь, но не забываю и об овцах. Они ведь такие глупые и если за ними не приглядывать, то разбредаются кто куда. Ищи потом ветра в поле. Поэтому приходится

сгонять их время от времени в кучу. Хотя я и раньше не раз помогал папе, но только сейчас убедился в том, что пасти овец — дело трудное. Ведь рядом со мной не было никого из взрослых. До самого вечера я пробыл с отарой на лугах. Устал, конечно, очень сильно. Еще бы! Попробуйте целый день проездить на коне — и сами в этом убедитесь. Но в то же время я радовался, что помог папе и пригнал отару в целости и сохранности к становищу. А когда папа с аке с гордостью посмотрели на меня и похвалили, я был на седьмом небе от счастья. Это ведь здорово — помогать кому-то от души. Аке подозвал меня к себе и ласково погладил по голове. Никогда я еще не видел его таким довольным. Наверное, давно не был на холме, где жили наши предки. Тут меня одолело любопытство. Сколько раз приходилось нам с соседскими ребятами играть на том холме, и ничего примечательного там я не видел. Разве что верблюжью колючку — жантак. Хоть бы следы какие-нибудь были или памятник.

— Аке, можно вас спросить?

— Спрашивай, Серик.

— Вот вы говорите, что возле холма когда-то жили наши предки. Но там ведь ничего нет. Обыкновенный холм. Таких здесь много. Есть даже среди них холмы повыше.

— В том-то и дело, Серик, что холм этот необыкновенный, хоть с виду и ничем не примечателен. Я вот слышал от твоего учителя, какое хорошее стихотворение ты написал об Аксае. Значит, ты любишь свой родной край. Помнишь, как ты торопился уехать в Аксай? Даже отца своего не дождался. Но любить свой край — это не только удивляться его красоте, но и знать его историю, его прошлое. Вот скажи мне: что ты знаешь о наших предках, как они жили и где жили?

— Ну, я знаю, что они были храбрыми воинами, защищали наш край от всяких завоевателей, — ответил я все, что знал о наших предках, и замолчал.

— Значит, они были героями, батырами? А если так, то надо знать о них все: как их звали, когда они жили, где кочевали. К тому же чтить их память, то есть приходиться в те места, где они ставили свои юрты. Ведь многим из наших предков приходилось погибать в бою и им не успевали ставить надгробные камни. Много в степи могильных курганов, и неизвестно, кто где похоронен. Поэтому холм

этот как памятник. Теперь тебе понятно, почему мы с твоим отцом ходили к холму?

— Понятно, аке. Только вы мне расскажите о наших предках.

Аке молча кивнул мне в знак согласия и до самой полночи рассказывал о подвигах батыров, которые передавались из поколения в поколение. Я с вниманием слушал его и думал о том, какие храбрые и мужественные люди жили когда-то давно в наших краях. Я живо представил, как небольшой отряд бьется с джунгарами. Врагов много, и можно отступить, чтобы спастись. Но никто не отступает, хоть степь широка и укрыться в ней нетрудно. Потому что, если отступят они, то враг пройдет дальше и разорит мирные, беззащитные аулы... Аке закончил свой интересный рассказ и лег спать. А я сидел и думал: «Вот вернусь после каникул в село, где живет аке, найду тетрадку, в которой мое стихотворение об Аксае, и допишу несколько строчек о подвигах батыров. Возьмусь за историю, запишусь в библиотеку и буду брать там интересные книги о прошлом Казахстана. Вот удивится наш учитель истории Булат-агай...»

5. МОЙ ДВОЮРОДНЫЙ БРАТ

Не успел уехать аке, как на следующий день из города приехала сестра моего отца Айман-апай. Рядом с ней был долговязый смуглый мальчуган. Он оказался моим ровесником, и звали его Токтасын. Мы тут же познакомились с ним. Тетя Айман высыпала на дастархан гостинцы. Чего только тут не было: абрикосы, кишмиш, орехи, всякие сдобные булочки и пряники... Чего скрывать, для нас, аульных ребятишек, живших на далеких отгонах, в ту пору такое угощение казалось сказочным. Так что через полчаса дастархан был опустошен.

Тем временем тетя Айман, услышав от мамы про то, как папа упал с коня, резко вскочила с места и испуганно закричала:

— Что?! Не может того быть!

Мама тут же успокоила ее, объяснила, что произошло это давно и сейчас папа чувствует себя превосходно.

— Ух, ну и напугали же вы меня! Чуть сердце не остановилось,— тяжело вздохнула тетя и попросила принести ей пиалу холодной воды. Отпив глоточек, прилегла

Лицо ее побледнело и стало неузнаваемым Токтасын вскрикнул: «Апа!»— и обнял тетю.

Я никогда не думал, что неосторожно сказанное слово так опасно. Недаром Бахытжан-агай сказал нам однажды, когда Жарас обозвал Сакена двоечником и тот два дня не появлялся в школе, что словом можно убить человека и поэтому надо быть осторожным, разговаривая друг с другом.

Тетя долго не могла прийти в себя и лежала с закрытыми глазами. Больше всего меня удивило то, что мама, присев возле нее, спросила:

— Что с тобой, шалунья, успокойся. Тебе плохо?

Тетя лишь слабо улыбнулась в ответ и медленно поднялась с места. Ну и чудеса! Почему мама назвала тетю «шалуньей», как маленькую девочку? Только позже я узнал, что отец с тетей рано лишились родителей. Мой папа был намного старше ее и сам воспитывал свою сестру. Когда он женился на моей маме, ей было всего десять лет. Вот тогда-то и стала мама называть тетю Айман «шалуньей». Видать, за непоседливость так ее назвала. От папы я слышал, что у тети первый муж был лучшим парнем села и погиб на войне. Но тетя долго не могла поверить этому и еще пять лет ждала его. Потом папа и аке с трудом уговорили выйти ее замуж.

Да и имя моего двоюродного брата показалось загадочным. Ведь Токтасын в переводе с казахского означает: «Пусть остановится». Оказывается, у тети родилось так много детей, что она решила после Токтасына никого не рожать. Тетя уже приезжала к нам несколько раз. Конечно же, в первую очередь проведать папу с мамой. Хотя ей было за сорок, но она иногда капризничала перед папой. Совсем как маленькая. Мне это казалось смешным. Но, если посудить, ничего смешного здесь нет. Просто папа был для тети и родным братом, и отцом, и матерью. Больше ведь у нее из родных никого и не было. А вообще, мы все любим тетю. Она веселая, приветливая и добрая. С ней очень хорошо. Единственное, что я знаю о моем двоюродном брате Токтасыне, это то, что он общительный мальчик. А остальное узнаем со временем.

Говорят, что хвастаться нехорошо, а воображать из себя мастера на все руки, если ты почти ничего не умеешь, и того хуже. Но одно дело услышать о таком, другое дело — собственными глазами увидеть хвастуна и воображалу. Я уже говорил про Токтасына. Мы с ним сдружились с первого же дня, а уже на второй день я подметил в нем кое-какие не совсем приятные черты характера. Правда, раскусить его удалось не сразу. Мы встали, когда папа уехал на пастбище. Тетя с мамой пили чай. Малышня играла возле юрты. Попив чаю, мы с Токтасыном собрались было прогуляться, как мама попросила принести воды. Я всегда охотно помогал ей, но тут мне расхотелось. Однако, ничего не поделаешь, пришлось принести два ведра воды и только потом отправиться на прогулку.

— Да-а,— грустно покачал головой Токтасын,— и смотреть-то не на что. Пусто кругом. Да и ребят мало, не с кем мяч погонять. А мяч у тебя есть?

Я лишь виновато пожал в ответ плечами, хотя у нас дома был маленький мячик. Но разве он подойдет для футбола. К тому же маленькая Айгуль ни за что не уступит его нам.

— Можно было вечером сыграть в прятки. Да опять же не с кем. Чувствую, здесь со скуки умереть можно. Что же вы тут, Серик, делаете?

— Как что? Живем. А скучать не приходится. Помогаю маме и папе, мастерю что-нибудь. Ну, иногда с Болатом ходим стреноживать коней,— сказал я и понял, что Токтасын прав. Действительно, страшная скука.

— Да-а,— снова грустно покачал головой Токтасын,— не густо. Ну ничего, что-нибудь придумаем.

Мы проходили мимо пустых кошар. Овец в них загоняют лишь зимой.

— Идея!— радостно воскликнул Токтасын.— Мы будем играть в индейцев. В этих кошарах будем прятаться друг от друга. Вырежем из досок ружья... Слушай, я, кажется, видел у тебя велосипед. Он будет у нас за коня...

— Но велосипед же один, а нас двое,— грустно промолвил я.

— Жалко!— огорчился Токтасын и вдруг резко остановился. Я посмотрел на него. Он удивленно вытаращил глаза, словно увидел фантастическую ракету. Оказываясь, внимание его привлекли ослы, которые паслись в овра-

ге. Среди них были и наша ослица с маленьким осликом. Я усмехнулся про себя и подумал: «Тоже мне, диковинку нашел! Наверное, видел ослов в зоопарке, а кататься на них не пробовал. Все-таки в городе живет, где длинных ух и в помине нет».

— Что интересного увидел?— спрашиваю у него, еле сдерживаясь от смеха.— Ты что, язык проглотил?

— Да вот, смотрю на ослов...

— А что на них смотреть. Самые обыкновенные ослы. Только и знают, что с утра до вечера кричать да траву щипать. Пользы от них никакой. Ленивы и упрямы.

— Вот это здорово! А что, если мы приручим вон того ослика? Осел хоть и не настоящий конь, но по крайней мере лучше твоего драндулета.

Я обиделся на него. Невежа! Назвал мой любимый велосипед драндулетом. Но я молча проглотил обиду и ответил ему:

— Это наш ослик. Ему уже четвертый месяц пошел. А ездить на нем еще рано.

— Да ничего не рано. Укротим его, объездим и будем кататься на нем,— стал доказывать свою правоту Токтасын.

— На таком малюсеньком? Да ты что! Ха-ха-ха!

В это время мимо проходил старший сын дяди Усена — Болат. Он слышал, о чем мы говорили, и вмешался в наш разговор:

— Да вы не смотрите, что он такой серенький и невзрачный. Даю голову на отсечение — этот кодык (так у нас называют маленьких осликов) станет тулпаром среди ослов. Правда, не сейчас, а когда вырастет. Не верите? Ну сами потом увидите.

Вначале я хотел сказать ему, чтобы он не совал свой нос в чужие дела, но раздумал. Все-таки приятно, когда хвалят твоего ослика. А может быть, он действительно прав? Стал бы он говорить, если бы не был уверен в этом. Вообще-то, я один раз видел, как он бегал и резвился. Очень даже быстро, скажу вам.

А Токтасын хлопнул меня по плечу и говорит:

— Ну что, Серик, моя взяла? У меня глаз наметанный. Я не люблю трепаться. Все-таки десяток фильмов про индейцев посмотрел, и каждый фильм по десять раз! Знаешь, какие там кони. Потому я не хуже всякого знатока разбираюсь в конях. Так что будем приручать ослика.

Я хотел у него спросить: «При чем здесь кони, когда

речь идет об ослах?» Да и в конях лучше разбирается тот, кто растит их. Но промолчал. Он, видно, подумал, что мне нечего сказать, и хвастливо заявил, размахивая руками:

— Коня можно приручить в два счета, а не то что какого-то там маленького ослика. Ты увидишь, какой я ловкий!

Ну и хвастун, ну и заливает! Я от неожиданности удивленно уставился на него и спросил:

— А ты хоть когда-нибудь ездил на осле, а?

— Какая разница, ездил я или нет. Что здесь особенного! Сел на него, ухватился покрепче за гриву и скачи!

— Ага, ты на него — прыг, а он начнет брыкаться, и ты вверх тормашкой! Того и гляди — шею себе свернешь.

— Это ты про меня? Чтобы я упал с такого махонького?! Никогда! Ха-ха, вот уморил. Это ведь не дикий конь, не мустанг какой-нибудь, которого лихие наездники объезжают.

— Ну ты же не лихой наездник! — возразил я ему.

— Знаешь, лучше не зли меня. Думаешь, раз я городской, так не смогу удержаться на твоём ослике? — разошелся не на шутку Токтасын.

Не ожидал от него такого упорства, но решил тоже не уступать. Если промолчу, то он будет смеяться надо мной.

— Вовсе и не хочу тебя злить. Больно надо! Просто не люблю, когда заливают. На словах все герои, докажи на деле!

— Значит, ты мне не веришь? Хочешь сказать, что я хвастун? Хорошо, тогда спорим. Но только при одном условии. Ты первым сядешь на ослика. Если он тебя скинет, значит, возьмешь свои слова обратно и будешь называть меня «Чингачгук — Большой Змей».

«Ишь, чего захотел. То же мне Чингачгук!» — подумал я и с усмешкой спросил:

— А если ты свалишься с него?

— Ну тогда... ну тогда я — хвастун, а ты... А ты — Чингачгук, — как-то неуверенно пробубнил в ответ мой двоюродный брат.

— Нужен мне твой Чингачгук. Язык ломаешь, пока произнесешь его имя. Может, мне нравится быть Кобланды-батыром.

— Это не важно. Зовись хоть Змеем Горынычем. Главное, доказать свою правоту. Ну, когда приступим?

Я хотел сказать: «Хоть сейчас». Но почувствовал, что проголодался и надо обязательно подкрепиться. Поэтому не долго думая выпалил:

— После обеда! По рукам!

После обеда мы вышли из юрты. Ослица с осликом теперь уже паслись неподалеку на лужайке. Я остановился. Токтасын прошел несколько метров вперед и, повернувшись ко мне, сказал:

— Ну что же ты остановился? Может быть, раздумал? Пошли!— Да еще скрестил руки на груди и смерил меня пренебрежительным взглядом. Тоже мне — ковбой выискался. При этом напустил на себя такой вид, будто готовился приручить самого дикого скакуна на свете.

— Ты, случаем, не спятил?— спрашиваю его.— Или решил сесть на ослика первым? Сейчас, кажется, моя очередь.

— А ты давай быстрее! Ждать тебя не буду. Начинай, иначе я сам сяду.

— Сразу видно, что ты ничего в этом не смыслишь. Вначале нам надо найти уздечку с удилами. Без них не обойтись. Повод длинный нужен, чтобы ослик не убежал. Понятно?— как можно спокойнее сказал я ему.

Уздечку-то мы нашли быстро. У отца несколько запасных на всякий случай припасено. Уздечка ведь не из железа сделана, а из кожи. Хоть прочна сыромятная кожа, но тоже изнашивается. Взяли и накинули уздечку на ослика. Вот здесь и вышла загвоздка. Велика оказалась уздечка нашему длинноухому мустангу. Как я сразу не догадался, что она предназначена для коней, а головы у них раза в три больше, чем у ослика. Укорачивали узду, укорачивали — ни секунды не держится, спадает все время. Что делать? Долго мы ломали голову, и неизвестно, до каких пор бы длилось все это. Спасибо, мама выручила. Взяла она тоненький аркан и связала нам маленькую уздечку. Прямо впору нашему ослику. Да и про удила не забыла мама. Правда, тоже из аркана, хотя удила должны быть железными. Не то конь спокойно перегрызет их, и тогда его не удержишь — понесет. Но для ослика сойдет и волосяной. Набросили мы наконец уздечку на ослика, а он с непривычки или, может, от щекотки — аркан все-таки колючий — стал ее жевать. Забавное получилось зрелище. Мы с Токтасыном не удержались и засмеялись. Глупенький, как их перегрызешь, если их зубами трудно достать.

Укрощение началось. Я запрыгнул на нашего стропитивого мустанга, а Токтасын взял в руки длинный аркан — чембур, соединенный с уздечкой. Вначале ослик брыкался, пытаюсь сбросить меня. Да не тут-то было. Я вцепился ему в гриву, словно клещ, и хотя пальцы мои ломило от боли, стерпел и не разжал их. Побрыкался ретивый скакун, побрыкался и утихомирился. Видно, устал. Вспотел, бедненький, будто его ведром воды окатили. Довольный и радостный, я соскочил на землю. Посмотрел на Токтасына с торжествующим видом, а он вдруг как захохочет. «Что это с ним?— удивился я.— Плакать ему надо, а он смеется. Свою правоту я доказал, удержался на ослике и не упал. Очередь за ним». Токтасын никак не может успокоиться. Хохочет и хохочет. Одной рукой за живот держится, другой на меня указывает. Оказывается, у меня сзади на штанах красовалось огромное мокрое пятно. Видно, это просочился ослиный пот. Я готов был лопнуть от досады, но виду не подал. «Ну ничего! Посмотрим, как ты на нем гарцевать будешь!»— подумал я про себя. Токтасын тем временем замолчал, подошел к ослику и уже хотел запрыгнуть на него, как тут нас окликнула мама:

— Ну-ка, удалцы-наездники, идите чай пить. Да и ослика пожалейте! А то ведь замучите бедненького. Пусть отдохнет!

Мы привязали ослика к колышку возле юрты и пошли пить чай. Токтасын теперь уже не хвастался и принялся рассказывать о том, как мы приручали ослика. Всем было смешно. Что ни говори, умеет он развеселить кого угодно. Я даже забыл о нашем споре и проникся к нему уважением.

Отдохнув, мы продолжили свое дело. Токтасын резко запрыгнул на ослика, крепко сжал левой рукой повод, а в правую взял камчу. И зря. Потому что хлестнул со всей силой длинноухого. Тот от боли пустился вскачь. Я чуть было не выпустил из рук чембур, но успел намотать его конец на кулак. Сил нет, чтобы придержать скачущего ослика. Пришлось бежать следом. А Токтасын смеется себе от удовольствия. То и дело поглядывает на меня, словно не на коротышке-ослике сидит, а на быстролетном скакуне. И вдруг ослик резко остановился, видимо, увидел под ногами что-то черное. Токтасын перелетел через него и грохнулся наземь. Я крепко зажмурил глаза, казалось, сердце мое перестало биться. А когда открыл их, то Ток-

тасын уже сидел как ни в чем не бывало на длинноухом Я обрадовался за Токтасына и удивился его ловкости. Не хочу скрывать, мне казалось, что он какой-то неуклюжий. Токтасын вновь поскакал. Я ужаснулся, только сейчас заметив, что упустил чембур. Толстый волосяной аркан запутался в ногах у ослика. Ослик от боли бешено забрыкался. Токтасын, словно пловец, прыгающий с трамплина, вытянул вперед руки и свечой спикировал в песок. Это было так смешно, что я не удержался и засмеялся.

Откуда ни возьмись прибежала тетя и стала трясти за плечи неподвижно лежащего на земле Токтасына.

— Ойбай, что с тобой?! Ты не ушибся? Почему ты молчишь? Вставай же, ну вставай!

Тут уж я перепугался не на шутку. Чуть не заплакал. И вдруг, смотрю, Токтасын вскакивает с земли, отряхивает пыль и улыбается. Ну и хитрец! Все равно ты проиграл, думаю. Больше не будешь задирать свой нос.

Токтасын до самого вечера не разговаривал со мной. Все ходил вокруг да около. Даже не решался смотреть в мою сторону. И только когда мы легли спать, он повернулся ко мне и тихо сказал:

— Серик! Не сердись, пожалуйста, на меня. Сегодня утром я был неправ. Давай помиримся и забудем...

Он не договорил до конца и вопросительно посмотрел на меня. В глазах его читалась мольба. Я быстро сказал ему в ответ:

— Да я не обижаюсь на тебя, Токтасын! Просто мне было неприятно слышать твое хвастовство. Мы же друзья!

Токтасын понимающе кивнул головой и улыбнулся.

После этого я полюбил своего двоюродного брата еще сильнее, чем прежде. Ведь, согласитесь, любой из нас может ошибиться, но признать свою ошибку может далеко не каждый.

7. НОЧНОЙ НАБЕГ

Вечером, когда мы пили чай, Токтасын осторожно ткнул меня в бок. Это означало: «Выходи на улицу, есть дело». Тетя заметила нашу возню:

— Прекратите шалить! Не можете вести себя по-человечески за дастарханом?— строго прикрикнула она на нас и положила свою руку на колени Токтасыну «Попробуй только шевельнуться, покажу тебе!»— вот

что значил ее жест. Но Токтасын не из тех, кто позволит командовать собой. И как бы строга с ним ни была его мама, он делает все по-своему. Такого шалуна, как мой двоюродный братец, на испуг не возьмешь. Кричи на него, наказывай, а он и глазом не моргнет.

Выбрав подходящий момент, пока тетя наливала чай и смотрела на чашку, Токтасын быстренько встал из-за стола и молнией скрылся за дверью. Следом за ним на улицу улизнул и я. Вдогонку мы слышали растерянные голоса мамы и тети: «Поели бы как следует». Скажут же — «как следует»! Откуда им известно, что мы поели не «как следует»? Может, мы наелись. Этим взрослым дай только повод. Начнут придирается по всяким пустякам. Есть же на свете кое-что поинтересней еды. Хотят есть, сидели бы да и кушали на здоровье. Желудки-то у них побольше, чем у нас. Сразу видно, так и норовят навредить нам. Почему им можно иметь от нас секреты, а нам нет.

Мы отбежали от юрты и спустились в овраг. Здесь всегда удобно обговорить свои дела. Выкладывай смело, что хочешь сказать, и никто не услышит.

Токтасын на всякий случай оглянулся по сторонам, а мной любопытство овладело, готов лопнуть от нетерпения. Он отдышался и сказал:

— Своими собственными ушами слышал, как твоя мама сказала моей: «Надо бы на днях купить мешка два дынь».

— Ну и что? Раз сказала, значит, купит,— разочарованно пробурчал я в ответ.

— Как — «ну и что»? Делаем вывод: дыни уже спеют.

— Дыни не спеют, а зреют,— назло поправил я Токтасына.

— Ну и зануда! Ты выслушай вначале, потом говорить будешь.

— Значит, ты мне хотел сообщить об этих пустяках? Я-то думал, что-нибудь стоящее. Дыни, видите ли, какие-то зреют. Ну и пускай себе зреют.

— Какой же ты нетерпеливый! Я тебе предлагаю настоящее дело. И не перебивай меня, иначе ничего не скажу.

— Ну, ладно,— сказал я ему примирительно,— молчу и слушаю.— Всегда так. Сделаешь кому-нибудь замечание, а он обижается. А с Токтасыном лучше не спорить — и вправду обидеться может.

— Так вот, на бахчах колхоза «Актюбе» дыни уже спели, тьфу, то есть созрели. А что...— тут он осекся и посмотрел на меня с таким видом, будто хотел попросить у меня что-то очень дорогое.— А что, если мы сходим туда сегодня ночью, а? Вылазку устроим. Знаешь, как это интересно!

И хотя он опять неправильно выразился, ведь вылазку совершают, а не устраивают, я сдержался, чтобы не поправить его, и согласно кивнул головой.

— Давай пойдем.

Уговорить меня легко. Так уж я устроен. Механизм у меня внутри такой, что ли, уговорчивый. Включается даже тогда, когда я не хочу. В общем, если меня уговаривают или просят, не могу отказать. Попробовал бы Токтасын приказать, я бы не подчинился. А стоит кому-нибудь обратиться ко мне с просьбой, добрею как-то. Вот и мама говорит: «Добродушный ты, но иногда уж чересчур мягкотелым становишься. Боишься обидеть отказом. Вдруг тебя попросят помочь в нехорошем деле, что тогда, а?» Как будто я маленький и не могу отличить плохое от хорошего. Правда, сейчас я не раздумывая согласился, хотя не знал, чем закончится наша вылазка.

Как-то со мной произошла такая история. Выходим мы однажды после уроков, а тут Самет вдруг ни с того ни с сего принялся передразнивать меня. Он у нас в классе круглый двоечник. Лодырь ужасный. Все время, когда его вызывают к доске, молчит, словно воды в рот набрал. Слова из него не вытянешь. Вытаращит глаза и мычит что-то невразумительное. Другое дело на переменах. Преображается прямо на глазах. Болтун несусветный. Трещит, точно трещотка. Тысяча слов с языка у него вылетает. В тот день он получил очередную двойку, а я — пятерку. Вот и начал меня дразнить от зависти. Иду-иду, а он все тараторит и тараторит. Хочет, видно, вывести меня из терпения. Пробовал было подойти к нему поближе и поймать. Но он, словно трусливый заяц, отбежит подальше и опять за свое. Обидно мне стало. Рассердился я не на шутку. «Ну,— думаю,— попадись ты мне — покажу, где раки зимуют». Вдруг у него шнурки на ботинках развязались. Пока он завязывал их, я незаметно подкрался сзади — р-раз! — и повалил на землю. Попался голубчик на удочку! Он лежит, пыхтит и умоляет:

— Пожалей, мы ведь с тобой друзья, больше не буду.

Жалко мне стало, когда я увидел его растерянное лицо. Пожалел, отпустил его, поверил на слово. Думаю,

больше не будет. Но все вышло иначе. Как только поднялся Самет с земли, так сразу же принялся за старое. Корчит всякие рожицы, кулаком грозит. Правда, не забыл об осторожности. Отбежал от меня подальше, чтобы я его поймать не мог.

Злился я, злился на нашего болтуна, пока смешно не стало. Бегаёт взад-вперед, скачет галопом, словно конь на скачках, а подойти боится. Ну чем не потеха! Тем временем меня догнали ребята из нашего класса, не до него стало. Мы же пошли домой.

Много еще всяких историй было. И всегда, стоит кому-нибудь из ребят рассердить или обидеть меня, как бы сильно ни сердился при этом, через десять минут забываю об обиде. Играю со своим обидчиком, будто тот ничего мне и не сделал. Мама всякий раз любит повторять при гостях: «Серик у меня добродушный, незлобивый. Такие люди никогда не становятся плохими». Может, это и так. Но в тот день после обеда Самет сам прибежал ко мне и мы с ним играли в догонялки.

А сейчас, чтобы не обидеть Токтасына, я согласился пойти с ним на бахчи. Все-таки в гости ко мне издалека приехал.

Командовать вылазкой решил сам Токтасын, потому что идея была его. Распорядился, что нам взять с собой и на чем ехать. Конечно, приказы выполнял я. Ведь всем известно — двух командиров не бывает. «Не умеешь руководить, так умей подчиняться», — решил я про себя.

Домашним мы сказали, что поиграем за оврагом и вернемся через час. Я никогда не обманывал маму, поэтому она поверила нам. Мы не долго думая двинулись в путь. Один из нас сел на велосипед, а второй на верного «тулпара» — серенького ослика. Не забыли прихватить с собой и мешочки дорожные — коржуны. Мама с тетей, ничего не подозревая, продолжали свои женские разговоры. Видно, они не почувствовали в том, что мы уезжаем на своем ослино-велосипедном транспорте, никакого подвоха. Может, оттого, что мы никогда не уходили играть далеко от дома.

Когда мы перевалили через холм, аула уже не было видно. Полуденная жара спала, и солнце медленно клонилось к закату. Наверное, притомилось, вид у него был какой-то усталый. Все-таки нелегко ему целыми днями печь во всю силу. Если бы оно могло говорить, то уж точно сказало бы: «Поработало я на славу, устало, отдох-

ну теперь». Ехали мы как можно быстрее. Правда, это у нас не совсем получалось. Тот, что на велосипеде, обгонял порой того, что на ослике, пока не уставал и не отставал от наездника на длинноухом тулпаре. А всадник некоторое время ехал впереди, пока длинноухий не останавливался как вкопанный, упрямо не желая идти дальше. В общем, ехали мы, и в голове у нас вертелась одна мысль — добраться до бахчей до сумерек. Чтобы не пришлось изнывать от скуки, Токтасын по дороге изложил мне план «боевых действий». Когда он произнес слова «боевые действия», я чуть было не рассмеялся. «Какие же это боевые действия?! Мы же не воевать идем. За дынями», — подумал я, но перебивать его не стал.

— Вначале пойдем на разведку. Разузнаем обстановку и только потом будем действовать, — с небрежностью бывшего разведчика обратился ко мне Токтасын, — понял?

— А зачем? Для чего? — удивленно спросил я.

— Затем, — с видом знатока стал втолковывать мне мой двоюродный брат, — чтобы нас не поймал сторож. Это в первую очередь. А во-вторых, для того, чтобы узнать, на каких грядках самые большие дыни.

— К-к-как? — заикаясь, переспросил я его. — Там еще и с-с-стор-р-рож есть?

— А как же ты думал. Мы ведь с тобой не на прогулку собрались, а в самую настоящую вылазку. Так что осторожность нужна обязательно! Да ты, я вижу, испугался?

— Д-да нет. Просто спрашиваю. У него, наверное, ружье... Увидит нас да как бабахнет из него.

— Не бойся! Подумаешь, ружье. Воров пугать! — ухмыльнулся Токтасын, положив локти на руль велосипеда. — Главное, незаметно подползти к грядкам и не зевать. Успевай только рвать дыни и подавать их мне.

Конечно, ему наплевать на ружье. Видно, он не первый раз в подобных вылазках участвует. Иначе не храбрился и не хорохорился бы так. А я сроду не бывал на этих проклятых бахчах. «Вдруг поймают! Что тогда будет! Мама, конечно же, расстроится, папа обязательно задаст мне взбучку. Или застрелит меня сторож». Мне стало страшно. Только сейчас я понял, что никакая это не вылазка, а самое настоящее воровство. «И зачем я согласился?» — грустно подумал я, но, увидев усмешку на лице Токтасына, покорно поехал за ним дальше. Ехал уж нехотя, с понуро склоненной головой. Вид у меня был, как у верблюжонка,

которого хотят привязать к колу, чтобы он не убежал куда-нибудь далеко от дома. Другое дело Токтасын. Прямо-таки сияет от удовольствия.

И вдруг я подумал о том, как будет здорово, если мы набьем наши коржуны дынями и арбузами. Представил себе ароматный запах медовых дынь и сахарных арбузов, тающие у нас во рту, словно мороженое, желтые и красные вкусные ломтики. Вот будет здорово, если наша ночная вылазка пройдет удачно. Ребята в аule заслушаются рассказом о наших с Токтасыном похождениях. Рассядутся они вокруг нас в кружочек, аппетитно уплетая нашу добычу и с раскрытыми ртами слушая нас. Мне стало радостно и весело. Еду на длинноухом, а в голове у меня от мыслей тесно. Все и не перескажешь. Впереди на велосипеде командир, позади я. Направляемся к бахам колхоза «Актюбе». Солнце уже висело низко над горизонтом. Все быстрее и быстрее спешит оно скрыться за его чертой. Торопимся и мы. До темноты нам надо быть у холма. Это и есть наше условленное место, откуда можно вести наблюдение перед вылазкой.

— Ток-та-сы-ын! — отчаянно закричал я и не успел опомниться, как очутился на земле. Оказывается, серенький ослик угодил копытцем в мышиную нору и споткнулся. Пока я лежал и охал от боли, подбежал Токтасын. Склонился надо мной и испуганно спросил:

— Что с тобой, Серик?

Как будто не видит сам. Хорошо, что я отделался ушибом. Главное — руки и ноги целы. Поднялся, подошел, прихрамывая, к ослику, забрался на него, и мы снова тронулись в путь. Ну, погоди у меня, длинноухий! Теперь буду внимательнее. Сжал я крепко поводья, подтянул их к себе, а сам хлещу по крупу серого упрямца, чтобы шел быстрее.

Вот и солнце закатилось. Нырнуло в свою щель на горизонте. А на том месте, где оно еще недавно висело, словно пурпурные шторы повесили. Чуть выше плыли белые облака. Снизу у них были красные пятна. Будто обрызгало их солнце своими последними лучами, как краской, или подожгло их огненное зарево заката. Что тут началось! Какие только цвета не появлялись над горизонтом. Запад походил на разноцветную картинку. Словно вырезанные из картона и приклеенные к ней, четко виднелись Келиншектау. Казалось, до этих причудливых гор рукой подать. Они тянулись длинной цепочкой и напоминали

огромных застывших караванных верблюдов. Точно остановившись на привал, легли они на брюхо, чтобы передохнуть от долгого утомительного перехода. А впереди каравана возвышалась остроконечная гора, живо походившая на невесту в свадебном островерхом головном уборе — саукеле. Если даже меня, не раз видевшего Келиншектау, всегда поражали эти причудливые горы, то неудивительно, что Токтасын не удержался и изумленно воскликнул:

— Ну и красотища! Серик, ты только посмотри! Прямо настоящий караван, груженный всяким добром.

— Ты это про горы говоришь?— спросил я, хотя прекрасно знал, что имел в виду мой двоюродный брат. Чего уж скрывать, мне страшно хотелось выглядеть знатоком в глазах моего командира, увлечь его таинственностью, чтобы вызвать в нем любопытство. И я добился своего. Теперь Токтасына словно подменили. Куда только подевалась его военная строгость? Он засыпал меня градом вопросов, как дошкольник-почемучка своего старшего брата-школьника.

— А почему они называются «Келиншектау»? Может, кто-то высек эти фигуры из обычных гор? Интересно, что там есть? А до них можно дойти пешком? Почему об этом чуде природы не написано в учебниках? Ты залазил когда-нибудь на их вершины?

Он задавал вопрос за вопросом, не дожидаясь моего ответа, и я растерялся, не зная, с чего начать. Голова шла кругом, а в ушах звенело от жужжавшего голоса Токтасына.

— Токта, Токтасын! погоди, Токтасын! Давай договоримся: вначале дойдем до того холма, приготовимся к операции, а потом я расскажу тебе предание о Келиншектау. Папа мне рассказывал когда-то, и я помню его назубок.

— Хорошо,— согласился командир,— только не забудь о своем обещании! А сейчас — слушай мою команду! Следуй за мной!

И хотя приказы выполнять тоже не очень-то приятное дело, но я облегченно вздохнул. Надо же! Оказывается, совсем это не просто — отвечать на вопросы такого любопытного человека.

Мы подъезжали к высокому холму. Рядом пролегал глубокий и широкий овраг. Места мне были хорошо знакомы. Помню, в прошлом году мы с папой перегоняли

здесь отару к осенней стрижке. Тогда я видел колхозные бахчи, расположенные на равнине за этим холмом. Я узнал, что на месте оврага когда-то протекала большая река. Потом она ушла под землю. И русло обратилось в усеянный мелкими камешками и песком овраг. Папа даже не поленился, соскочил с коня и стал выкапывать руками ямку. Чем глубже копал ее, тем влажнее становился песок. Значит, где-то на небольшой глубине есть вода!

— Стой!— раздался внезапный окрик Токтасына.— Слезай с длинноухого! Оставим его с твоим драндулетом здесь, в овраге. А сами будем вести наблюдение с холма за бахчами.

Я только сейчас удивился осведомленности Токтасына:

— Откуда ты знаешь, что бахчи именно за этим холмом? Кажется, ты никогда не бывал в здешних краях?

— Внутренний голос подсказывает. У меня чутье на арбузы и дыни. За километр могу унюхать,— хитро прищурясь, сказал Токтасын.

Я принял его слова за чистую монету и, не чувствуя никакого подвоха, шумно потянул носом и принялся, но, кроме терпкого запаха полыни, ничего другого не уловил.

— Эх ты, простофиля!— расхохотался командир.— Поверил моей шутке, уши развесил.

— Откуда мне знать, что у тебя такие дурацкие шутки,— обиженно огрызнулся я в ответ. А сам подумал: «Ловко же он провел меня!»

— Ох и невнимательный же ты, Серик! Сам ведь под- сказал мне.

— Когда это?— удивленно переспросил я, привязывая ослика за куст.

— А тогда, когда сказал, что вначале дойдем до этого холма, подготовимся к операции, а потом ты расскажешь о Келиншектау. Или забыл?

Я промолчал от растерянности и решил впредь быть внимательным.

Мы залезли на вершину холма. Отсюда как на ладони были видны колхозные бахчи, располагавшиеся на равнине. На том краю поля стоял шалаш. Глухо доносился лай собаки. Виднелась крохотная фигурка расхаживавшего взад-вперед сторожа. За спиной у него, кажется, висело ружье. Чего скрывать, сердце у меня сжалось от страха. Я вспомнил рассказ бывшего арбузника Какена. Тогда

мы, слушая его, покатывались со смеху. Приключения казались такими же забавными, как и выступление клоуна в цирке. С ним были еще двое. Они так увлеклись дынями, что забыли об осторожности. А сторож тем временем подкрался к ним незаметно и хватъ самого младшего — Оспана — за ухо! Какен задал такого стрекача, что его, наверное, в тот момент не смог бы догнать даже чемпион мира по бегу.

— Да-а,— огорченно вздохнул Токтасын.— Нам надо дожидаться, пока не стемнеет. Опасно даже высовываться. Зачем рисковать? Лучше не спешить. Так что давай — рассказывай.

Мы постелили коржуны под себя и улеглись поудобнее.

— Было это так,— начал я, придавая своему голосу таинственность.— В давние-предавние времена жил, говорят, по эту сторону Каратау один бай и была у него единственная горячо любимая дочка. Росла-подрастала она, пока не пришло время выходить ей замуж. Хотя очень не хотелось баю расставаться с дочерью, но пришлось ему смириться. Правда, знатных да богатых женихов было хоть отбавляй. Всем охота завоевать сердце и руку такой писаной красавицы. Бай был человеком умным и не стал неволить дочь. Наконец в один прекрасный день выбрала она себе достойного жениха. Ничего не пожалел из своего добра на приданое дочери бай. О таком богатстве в этих краях никто прежде не слыхивал. Все, кто видел приданое, только рты от удивления разевали. Акыны принялись дружно восхвалять щедрость бая в стихах. Все имущество и добро было из золота да из серебра, ткани — парча да шелк. Проверили бай с женой перед отъездом дочери приданое и погрузили его на десять верблюдов. «Надеюсь, ты довольна, дочь моя. Благословляю тебя и твоего жениха!»— сказал бай и проводил молодых в дальнюю дорогу. Во главе свадебного каравана ехала дочь. Люди долго еще стояли возле юрт, не в силах оторвать взгляда от такого обилия сокровищ, от торжественного шествия верблюдов. Вдруг байская дочь остановила караван, чтобы еще раз осмотреть свое приданое. Долго она перебирала разные украшения, дорогие вещи, подолгу любовалась нарядами, пока не увидела, что миска для собаки сделана из простого дерева. Обиделась красавица и сказала жениху: «Я думала, что все у меня из золота и серебра, а оказывается, миска простая. Поезжай в аул к отцу и передай мои слова». Страшно разгневался бай, души не

чаявший в своей дочери, и проклял ее: «Боже мой, какая же ты бессердечная, бесчувственная как камень. Так обратись, несчастная, в камень!» В тот же миг весь караван окаменел. Окаменела и байская дочь. Вот предание, которое рассказывал мне отец, а ему рассказал дедушка. Не знаю, правда это или выдумка, но горы Келиншектау действительно похожи на застывший караван», — и я замолчал.

— Вот бы глянуть на эти горы вблизи. Давай сходим туда, — сказал Токтасын.

— Куда?! Да ты что, спятил? Знаешь, сколько до них надо топать?

— Неужели? Так они же рядом.

— Обман зрения. Целый день пешком надо идти.

— Эх, потрогать бы руками верблюдов. Погладить бы их. — Токтасын тяжело вздохнул. Видимо, вспомнил, что через день-два они уедут обратно в город. Да и мне вдруг стало тоскливо. Все-таки интересно было с ним. Как жалко расставаться с хорошим другом. Мы некоторое время задумчиво смотрели на горы. Тем временем начали сгущаться сумерки, расплываясь по оврагам, словно чернильное пятно на промокашке. Смутной вечерней дымкой заволакивались каменные верблюды Келиншектау, пока темнота не скрыла их за своей ширмой. Бахчи словно сквозь землю провалились. Лишь по глухому лаю собаки можно было догадаться, в какой стороне они находятся. Кромешная тьма придала нам уверенности и смелости.

— Ну, пошли, — коротко сказал Токтасын и, подхватив один из коржунов, быстро вскочил с места. Я двинулся следом. Идем, ступая осторожно, по-кошачьи, чтобы ненароком не наступить на сухие ветки и не задеть кусты. Я старался подбодрить себя, но чем ближе мы подходили к бахчам, тем сильнее меня пробирал страх. Вдруг мы в темноте наткнемся на сторожа. Ох и попадем же в страшную переделку. Сторож нас по голове не погладит. Быстрее бы нарвать дынь и арбузов и набить ими коржуны, а там остается самая малость: дотащить груз до оврага, погрузить на наш ослино-велосипедный транспорт — и во весь дух домой. Лай уже слышался где-то очень близко. Наверное, сторожевой пес учуял чужих. Того и гляди, спустит его сторож с цепи и поминай как звали. Бахчи сторожат огромные волкодавы вроде нашего Кутжола, а смиренными их не назовешь. У меня мороз по коже прошел. «Хоть бы

пронесло!»— повторял я про себя. Если бы не Токтасын, то не задумываясь повернулся бы и побежал подальше от этого проклятого места.

Наконец-то мы очутились на краю поля. А когда я ногой задел гладкий и холодный шар, такая радость охватила меня, что я забыл о своем страхе. Вдруг под самым ухом раздалась щелчки. Я затаил дыхание и замер. Тьфу, оказывается, это Токтасын выбирал спелые арбузы. Сразу видно — опытный «арбузник». Что удивительно, расхаживает по грядкам, как в собственном огороде. Он шепотом подозвал меня к себе и мы, вытянув тяжелые, точно гири, арбузы за хвосты, словно рыбу из воды удочкой, закатали их в коржун. В это время поблизости раздался резкий шорох. То ли зверь, то ли скотина. Ясно одно — живая душа. От страха я крепко вцепился в Токтасына. Токтасын толкнул меня в бок и шепнул: «Ложись!» Лежим — не дышим. Где-то рядом ходит сторож. Как томительно идет время. Казалось, сторож догадывается о том, что кто-то забрался на бахчи и нарочно ходит вокруг да около, чтобы поймать с поличным. У меня от волнения в горле пересохло, а на лбу выступила испарина.

— Ну что же вы лежите? Вставайте, вставайте и рвите дальше, козь уж начали, — неожиданно в нескольких шагах от нас раздался спокойный голос сторожа. Ума не приложу, как он увидел нас в такой темноте, ведь мы его увидели не сразу.

«Все! Конец! Теперь он нас свяжет по рукам и ногам, а утром отвезет в аул, как преступников», — холодея от ужаса, подумал я. «Нет, надо бежать!» Я хотел было встать, но не смог оторвать свое тело от земли. Словно меня припечатали сверху чем-то тяжелым.

— Эй вы, герои! Что, язык от страха проглотили? Вставайте и рвите арбузы, чего жалеть, их здесь много.

Я ушам своим не поверил. Вместо того чтобы отругать нас, сторож разговаривает с нами спокойно.

— Ну-ка, подойдите поближе, — сторож направил фонарь прямо на меня. — Уж не чабана ли Оспана ты сын?

— Я-я, — с трудом выдавил я из себя.

— Вот это да! — удивился сторож. — А этого я что-то в наших краях не видел.

— Да это мой двоюродный брат, — растерянно пробубнил я.

— Что же мне с вами делать, братья-разбойники?

Отпустить? Не могу, застал на месте преступления. А если бы не застал? Сколько бы вы тогда дынь и арбузов на-рвали? Надрать бы вам уши, да ведь стыдно, почти взрослые. Мораль прочитайте, так и то не умею,— задавал вопросы себе и тут же отвечал на них сам сторож.— А может, оштрафовать вас? Да ведь у вас денег нет. Не работали еще.

— Простите,— промямлил Токтасын.— Мы не хотели. Мы больше не будем...

— Если бы не хотели, то и не стали бы рвать арбузы. Были бы арбузы мои собственные — дал бы вам даром. В том-то и дело, что они колхозные. Вот у тебя,— сторож обратился ко мне,— отец — чабан, пасет отару, сторожит ее от волков и любителей поживиться за чужой счет. Ты ведь ему помогаешь? Помогает! Что бы ты сделал с тем, кто утащил бы у тебя из отары хоть одного ягненка?

Я все понял и хотел сказать, что сдал бы вора в милицию, но промолчал.

— Ну чего ты молчишь?

— Так ведь одно дело овца, а другое дело арбуз. Овец надо растить, ухаживать за ними, а арбуз растет сам по себе,— сказал я, наконец осмелев.

— Ошибаешься, дружок. Арбуз сам по себе не растет. Он тоже ухода и заботы требует. Его надо поливать, чтобы от жары не погиб, следить, чтобы скот не вытоптал да такие же сорванцы, как и вы, не набедокурили,— отчитывая меня, строго сказал сторож.

Я готов был от стыда испариться, но чтобы только не слышать этих слов. Не знаю, сколько еще времени мы простояли бы так на бахчах. Но сторож, вдруг услышав лай, повернулся и пошел к своему шалашу. Пройдя несколько шагов, он крикнул нам:

— Ну что стоите? Идите домой. Арбузы можете забрать, раз уж сорвали. Но в следующий раз уши пообрываю, если застаю вас на месте преступления!

Я переминался с ноги на ногу. Да и Токтасын не сошел со своего места. Чего скрывать, ведь мы знали, что наше сегодняшнее приключение похоже на воровство. Токтасын тяжело вздохнул и грустно произнес:

— Сторож прав. Мы — преступники! Надо смыть позор.

— Как смыть, кровью, что ли?— удивленно спросил я у него.

— Не кровью, а потом. Мы заберем эти арбузы, и..
— Ни за что! Как тебе не стыдно!— сердито накинул-
ся я на Токтасына.

— Да выслушай ты до конца. Мы заберем эти арбузы,
а завтра утром придем к нему и будем помогать,— весело
закключил Токтасын.

Когда мы подъезжали к аулу и перевалили через ближ-
ний к аулу холм, то услышали крики:

— Токта-сы-ы-н!

— Се-ри-к!

— Боже мой, куда же они запропастились?

— Хоть бы живы-здоровы были!

Это искали нас мама и тетя. Видимо, они перепугались
не на шутку. Прямо обидно. Не дошколята же мы какие-
то там несмышленные. И все-таки мне жалко стало маму.
Она всегда переживает за меня. «Эх, зря я пошел с Ток-
тасыном на бахчи! Обидятся папа с мамой, если узнают,
где мы пропадали сегодня».

— Мама, да здесь мы,— крикнул я и чуть было не за-
плакал.

Токтасын недовольно ткнул меня в бок:

— Эй, ты, размазня! Маменькин сыночек!— сердито
буркнул он.

— Слышишь, Айнаш? Они где-то поблизости. Не будем
их сегодня ругать, но завтра отшлепаем как следует.
Нельзя их оставлять без присмотра, а то выкинут еще
что-нибудь несусветное,— сказала мама тете и, увидев нас,
кинулась обнимать.

— Ну, кажется, живы, милые. Совсем извелись, ду-
мали, вы в беду попали. Весь Аксай на ноги подняли, всех
собак в округе криками своими всполошили.

На этом наш ночной поход и закончился. Но плохо
то, что голоса в тишине слышны очень далеко. Ведь крики
мамы и тети, искавших нас, могли услышать и в соседнем
ауле, где живут родственники Гульнар, а она должна у
них гостить. Какой стыд! А вдруг она тоже слышала.
Возьмет да и спросит: «Серик! Что ты натворил в ту ночь?
Мама тебя искала». И тогда — прощай дружба! Не смогу
же я ей соврать, расскажу про подвиги, и она назовет
меня «воришкой». Не станет и слушать, что мы с Токта-
сыном нарвали дынь и арбузов не только для себя, но и
для малышей Аксая.

На следующий день мы помогали сторожу, поливали

бахчи и грузили на колхозный грузовик дыни и арбузы. За это мы заработали мешок дынь и мешок арбузов.

Малыши с удовольствием уплетали заработанные нами арбузы и дыни. А мы весело переглядывались с Токтасыном. До чего приятно, когда ты угощаешь своих братьев и сестер тем, что принадлежит тебе по праву.

8. ДО СВИДАНИЯ, АКСАЙ!

Вы, наверное, не слышали про наш Аксай? Ну не беда. Это ведь только одно из многочисленных джайляу, рассыпанных по всей степи. Таких мест у нас в стране очень много. Есть, конечно же, и покраще. Но для меня Аксай самое лучшее, самое красивое джайляу. Я здесь родился. Вот недавно по радио один артист пел песню: «Не любя родные места, не полюбишь страну свою». Эти слова крепко запали мне в сердце. Когда я после каникул уезжаю на центральную усадьбу нашего колхоза, то больше всего скучаю по папе с мамой и по родному Аксаю.

Вот и закончились летние каникулы, пролетели веселые и озорные деньки, уехали в город Токтасын с тетей, и мне уже пора уезжать. Много я понял, узнал и увидел. Сколько интересных событий прошло у меня перед глазами! Папа полностью выздоровел, нога его зажила. Я ему помогал все лето. Впервые я узнал о безымянном холме, где сложили свои головы наши предки. Узнал от геологов и о том, что край наш — это край сокровищ, что каменные верблюды Келиншектау скрывают в своих недрах золото, железную руду и нефть. Понял, что любить край — значит знать о нем все. К сожалению, я знаю еще очень мало. Понял и то, что любить край — значит беречь каждое деревце, защищать зверей от таких людей, как Бейсен. Одно только все еще огорчает меня. Это ночной поход на бахчи. Ну чего это я переживаю? Ведь мы с Токтасыном исправили свою ошибку. Хоть и пролетело лето очень быстро, но я немножко подрос.

Когда я садился в машину, мама выбежала из юрты с узелком, подала его мне и поцеловала на прощанье в лоб. Машина тронулась с места. Я обернулся назад на прощанье. Мама махала мне рукой и вытирала платком глаза. Братья и сестренки стояли возле юрты и тоже махали мне вслед. Хотелось остановить машину, выпрыгнуть из кабины и остаться с родными.

Машина выехала на большую шоссейную дорогу. Двумя крохотными точками виднелись позади юрты дяди Усена и наша. Длинный шлейф пыли все еще висел и не рассеивался над проселочной дорогой. Я смотрю то вперед, то назад. Хочется остаться в Аксае и хочется быстрее встретиться со своими одноклассниками и с аке.

Я вновь вспомнил слова Гульнар: «Аксай принадлежит не только тебе одному!» Нет, она неправа. Аксай — мой! И это я могу доказать всему нашему классу: До свидания. Аксай! Мой любимый Аксай!

Живописное джайляу уже скрылось за холмами, а машина мчалась вперед все быстрее и быстрее...

СОДЕРЖАНИЕ

М. Аймбетов

КУНЕКЕЙ

Перевод Б. Момыш-улы

3

М. Кабанбаев

СОЛНЦЕ В ОДУВАНЧИКАХ

Перевод Н. Алембековой

38

М. Каназов

ЧИКА — СЫН ДАБЫЛА

Перевод Г. Мурзахметовой

81

Т. Нурмагамбетов

ПОЛЕ ДЕТСТВА

Перевод Е. Сатыбалдисва

107

А. Шыпбатыров

НА ЛЕТНИХ КАНИКУЛАХ

Перевод Р. Токбергенова

133

П49 **Поле детства:** Повести казахских писателей о подростках./ Пер. с каз.— Алма-Ата: Жалын, 1988.— 176 с.

Настоящий сборник составили повести казахских писателей, посвященные подросткам. Каждая из повестей — это сложный ребячий мир, в котором наряду с выдумками и озорством, увлекательными приключениями есть и серьезные заботы и дела.

П 4803010200—34 127—88
 408(05)88

84Каз7—44

Для старшего школьного возраста

ПОЛЕ ДЕТСТВА

Повести казахских писателей
о подростках

Перевод с казахского

Редактор

У. Молдахметов

Художник

Р. Аканаев

Художественный редактор

Н. Бубэ

Технический редактор

Р. Винокурова

Корректор

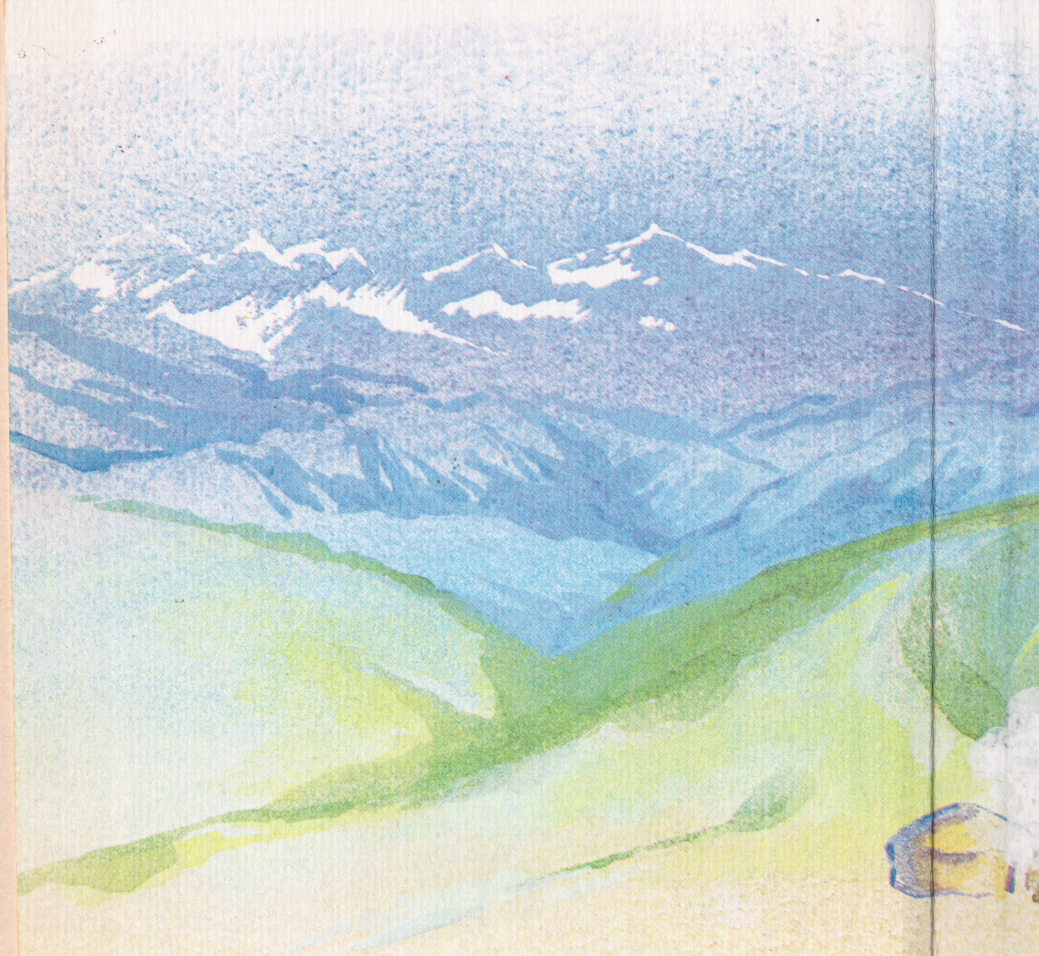
О. Петрова

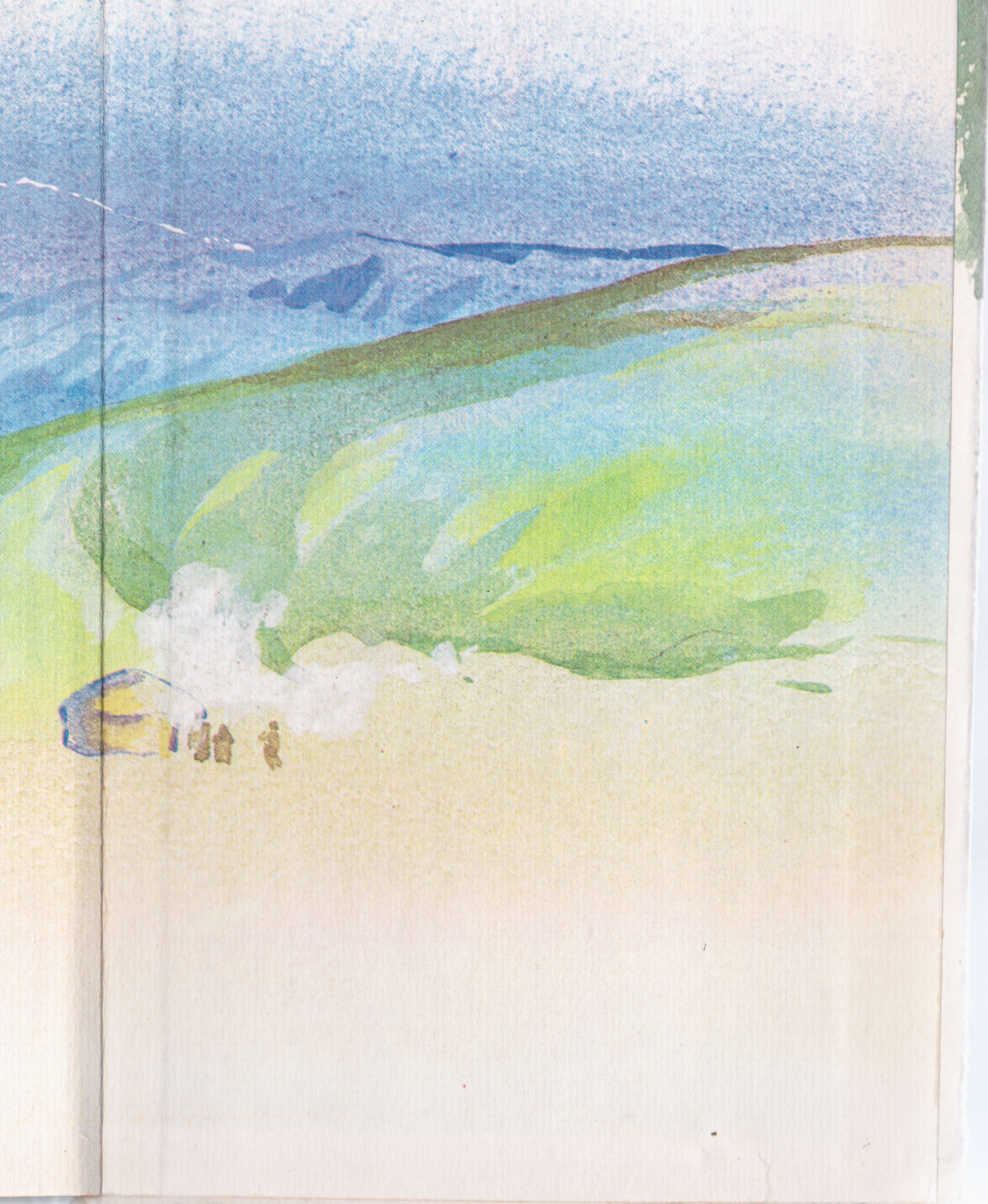
ИБ № 3920

Сдано в набор 27.07.87 Подписано к печати 10.12.87
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага книжно-журн. Гарнитура
«Литературная». Печать высокая. Усл. п. л. 9,24.
Уч.-изд. л. 9,3. Усл. кр.-отт 9,84. Тираж 50 000 экз. Цена
в обложке-35 коп. (40 000 экз). Цена в переплете-55 коп.
(10 000 экз) Заказ 957

Издательство «Жалын» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480124, г. Алма-Ата, пр. Абая, 143

Фабрика книги производственного объединения полиграфических предприятий «Кітап» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480124, г. Алма-Ата, пр. Гagarина, 93.





55 к.

